

алексей з

ЯБЛОКО ОТ

Алексей Злобин

Яблоко от яблони

«Издательство Ивана Лимбаха»
2016

УДК 791.633-051 (470.23-25) «19/20» + 792.075 (470-25) «19/20» -94
ББК 85.374.3 (2) 6-8 Герман-49 + 85.334.3 (2=411.2) 6-8 Фоменко-49

Злобин А. Е.

Яблоко от яблони / А. Е. Злобин — «Издательство Ивана Лимбаха», 2016

Новая книга Алексея Злобина представляет собой вторую часть дилогии (первая – «Хлеб удержания», написана по дневникам его отца, петербургского режиссера и педагога Евгения Павловича Злобина). «Яблоко от яблони» – повествование о становлении в профессии; о жизни, озаренной встречей с двумя выдающимися режиссерами Алексеем Германом и Петром Фоменко. Книга включает в себя описание работы над фильмом «Трудно быть богом» и блистательных репетиций в «Мастерской» Фоменко. Талантливое воспроизведение живой речи и характеров мастеров придает книге не только ни с чем не сравнимую ценность их присутствия, но и раскрывает противоречивую сложность их характеров в предстоянии творчеству. В книге представлены фотографии работы Евгения Злобина, Сергея Аксенова, Ларисы Герасимчук, Игоря Гневашева, Романа Якимова, Евгения Тарана Автор выражает сердечную признательнось Светлане Кармалите, Майе Тупиковой, Леониду Зорину, Александру Тимофеевскому, Сергею Коковкину, Александре Капустиной, Роману Хрущу, Заре Абдуллаевой, Даниилу Дондурею и Нине Зархи, журналу «Искусство кино» и Театру «Мастерская П. Н. Фоменко» Особая благодарность Владимиру Всеволодовичу Забродину – первому редактору и вдохновителю этой книги

УДК 791.633-051 (470.23-25) «19/20» + 792.075 (470-25) «19/20» -94
ББК 85.374.3 (2) 6-8 Герман-49 + 85.334.3 (2=411.2) 6-8 Фоменко-49

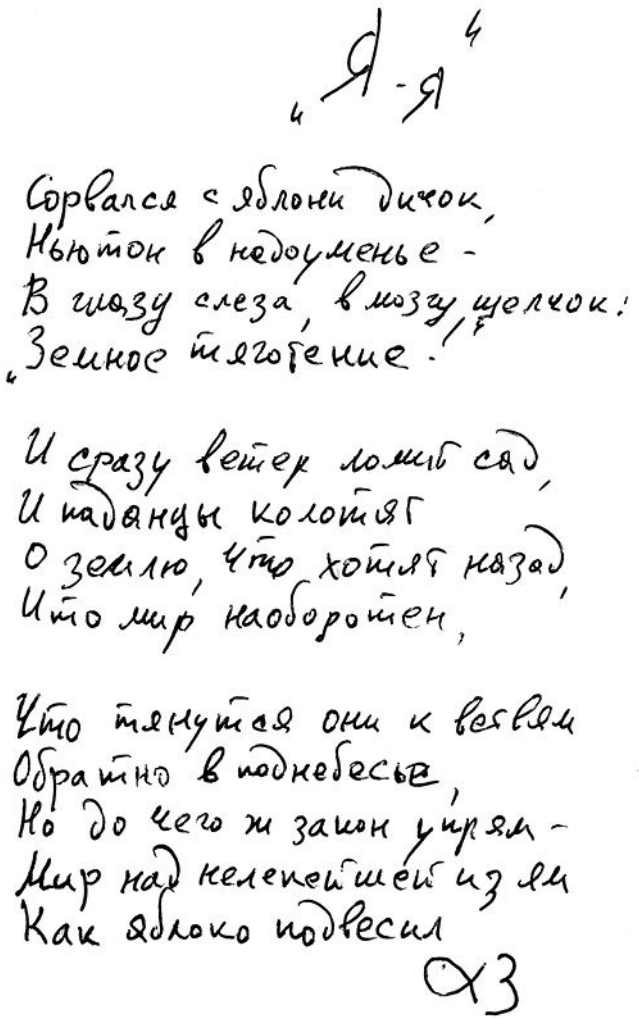
© Злобин А. Е., 2016
© Издательство Ивана Лимбаха, 2016

Содержание

Ключ 11
Зачин 12
В мутной воде 15
Перебежчик 17
Жара, или Сказка о потерянном времени 25
Не могу представить, что будет завтра 31
Вывихнутый 45
Дневник петербуржца в провинции 46
На те же грабли. Письмо Ирине Евдокимовой 58
Конец ознакомительного фрагмента. 66

Алексей Злобин
Яблоко от яблони Герман, Фоменко и другие опровержения Ньютонова закона

Моей маме





Моховая улица в Ленинграде, 1950-е годы



Евгений Злобин. Ленинград, 1950-е годы



Друзья и коллеги: слева Евгений Злобин, справа Алексей Герман. А также Аркадий Кацман, Евгений Калмановский, Виктор Сударушкин.

Ленинград, 1950-е годы.

Аркадия Фридриховича Каца нет на этой фотографии, но именно он, один из последних однокурсников блестящего выпуска А. А. Музиля, помог мне ее расшифровать

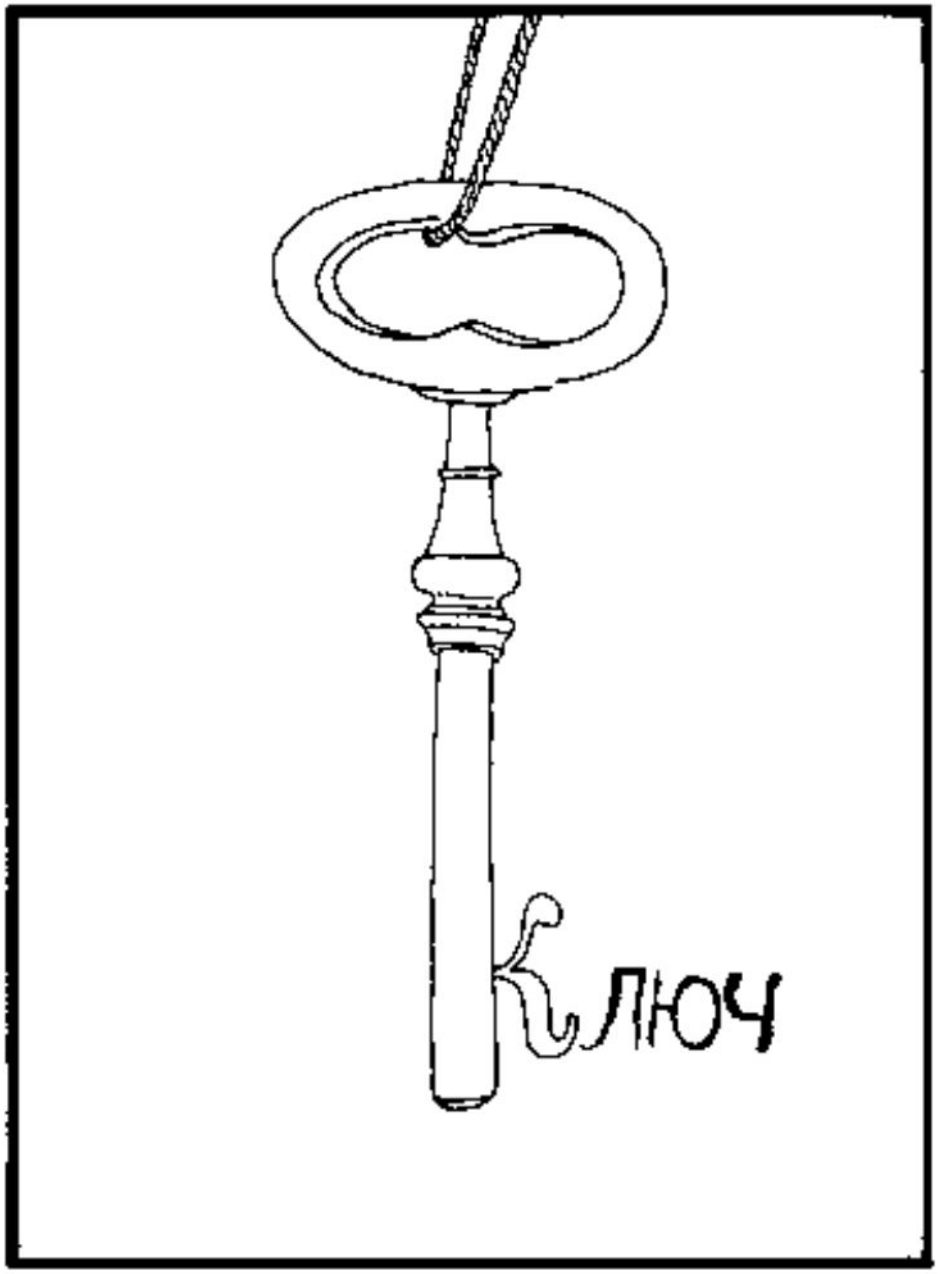


Петр Фоменко на съемках фильма «На всю оставшуюся жизнь».
Ленинград, 1970-е годы

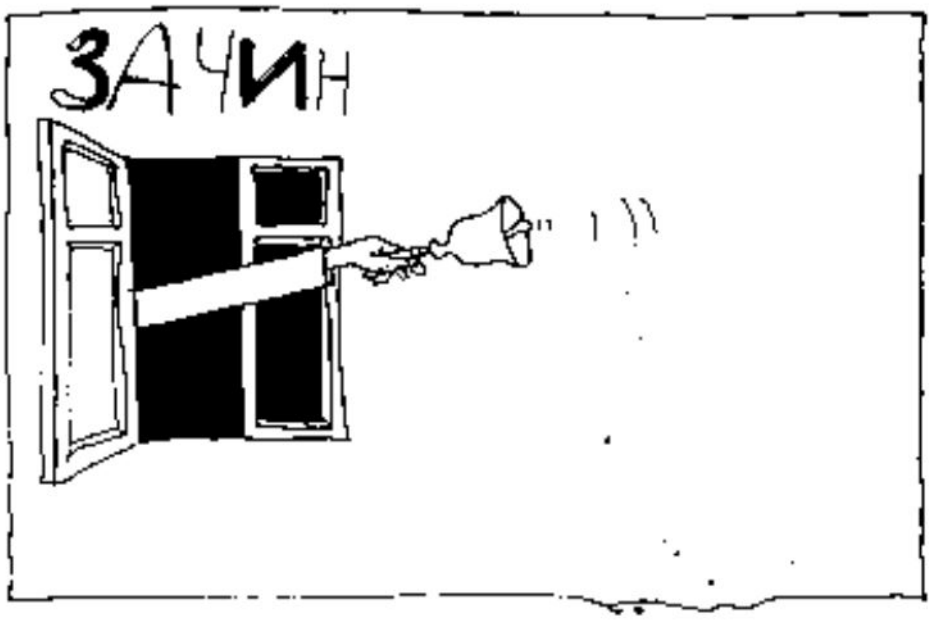


Друзья-коллеги, педагоги Алексей Злобин, Николай Лавров и Вадим Данилевский

Ключ



Зачин



При поступлении отец подарил мне ключ, старинный, литой. Он собирал ключи, но этот был особый – это был ключ-артист. В спектакле «Ричард II» мятежник Болингброк дает этот ключ слуге: «Запри все двери!» Болингброка играл Николай Григорьевич Лавров, а слугу, маленький эпизод, – я. Когда-то Николай Лавров был у отца студийцем, а в шекспировой драме играл уже заслуженный артист республики, ведущий мастер Малого Драматического театра, бесконечно любимый мною Дядя Коля. Ключ я сунул в карман пиджака, собираясь на первое в моей жизни занятие по мастерству.

– Папа, я сегодня зачинщик, нужно придумать зачин и провести тренинг…

Зачин – это творческое высказывание в свободной форме, где должен быть задействован весь новонабранный курс. После показа зачин обсуждают, развивают, если есть что развивать. Лучшие зачины пойдут в зачетное представление первого семестра. А тренинг – набор упражнений, выявляющих и развивающих различные способности и качества будущих режиссеров: память, внимание, воображение, партнерство и прочее.

– И что ты хочешь от меня? – спрашивает отец. Он собирается на съемку, поправляет перед зеркалом пиджак, причесывается.

– Женя, ты опаздываешь, они опять будут ждать и злится! – волнуется мама. Раздается телефонный звонок.

– Аня, возьми трубку и скажи, что я вышел полчаса назад.

– Сам возьми и скажи.

– Дорогая, это будет нелогично, они сочтут за издевательство. Да и разве это буду я, если приду вовремя? К тому же у Алексея Евгеньевича есть вопросы, которые он по своему обыкновению задает в самую подходящую минуту. Лёша, – он обращается ко мне, – сколько тебе лет?

– Папа, мне двадцать один, при чем здесь…

Но я не успеваю уточнить, что при чем, отец со жгучей иронией бросает:

– Мой дорогой гениальный сын, неужели тебе не хватило двадцати лет до поступления в театральный вуз, чтобы придумать первый зачин и упражнение для тренинга? Ты не ошибся дверью?

Меня душит обида, вновь звонит телефон, в дальней комнате хлопает дверь – мама не участвует ни в нашей теплой беседе, ни в папиных мелких хитростях. Под надрывно звонящий телефон, отпирая замок и раскуривая папиросу, отец роняет:

– Лучший тренинг для первого занятия – познакомиться. Пусть все по кругу представятся полным именем, с отчеством и фамилией, и каждый потом повторит имена всех. Это может пригодиться и для необходимой рабочей дистанции в процессе обучения и для возможных дальнейших встреч в профессии. Чтобы не было пошлого амикошонства: Маша, Ваня, Гриша, но: Марья Ивановна, Григорий Петрович. А зачин… убей бог, не пойму, что это такое и зачем он нужен, но вот тебе тема: «Слепые» Брейгеля.

– Что?

– Открой альбом, посмотри картину.

– Я знаю картину.

– Так в чем же дело?

– Не пойму тему.

– О, это еще хуже, чем быть неготовым к уроку. Сцена – дорога, зрительный зал – яма, черная яма: подумайте, дорогие будущие режиссеры о предстоящем вам пути.

Телефон продолжает надрываться.

– Скажите – я уехал на студию час назад!

– Хорошо. Спасибо, отец.

Наша мастерская, аудитория № 4 на первом этаже ЛГИТМиКа, питерской театралки. Свет только из распахнутого настежь окна, за которым пасмурный с серыми стенами двор. В окно один за другим забираются молодые люди в черных тренировочных костюмах, мальчики помогают девочкам, ветер звенит колокольчиками на невидимых черных нитках. Молодые люди в полутьме срывают колокольчики, встают шеренгой в глубине сцены. Последний закрывает окно. В темноте раздается легкий перезвон: один колокольчик зовет, другой отвечает, вступает третий, четвертый подхватывает, и вот уже все двенадцать колокольчиков звенят крещендо. Щелчок невидимых пальцев, колокольчики разом смолкают, резко вспыхивает свет.

По планшету рассеяны двенадцать молодых людей, все щурятся, отворачиваются от вдруг ослепивших их софитов, выставив руки с колокольчиками, бредут на ощупь, исчезают в кулисах, прячутся за задником.

Зачинщик в центре настойчиво звонит, к нему постепенно подходят другие, отдают свои колокольчики, встают друг за дружкой, положив правую руку на плечо впереди стоящего. Зачинщик осторожно шагает, звенит двенадцатью колокольчиками, остальные «слепцы» – за ним. Шаг за шагом – звон колокольчиков; еще шаг – они подходят к краю сцены. Зачинщик замирает: перед ним черная яма зрительного зала с двумя десятками стульев. Он вслушивается в темное пространство, дует перед собой, снова прислушивается – ничего. Тогда всеми двенадцатью колокольчиками он звенит в темноту. Стоящий за ним «слепец» убирает руку с плеча Зачинщика и шагает вперед к самому краю, резкой полоске, разделяющей свет и тьму. Зачинщик звонит, пытаясь услышать какой-то отзвук из этой тьмы, колонна слепых снова шагает – они идут во тьму, заставленную стульями. Последний уже сошел со сцены, обживаются в темноте, ощупывают стулья, рассаживаются: Аня, Витя, Вадик, Люба, Света, Лена, Максим, Влад, Лёша, Юля, Ханна – сидят, закрыв ладонями уши, они не хотят слышать нервного звона колокольчиков. Зачинщик перестает звонить, ощупывает пустоту вокруг себя, поворачивается к залу спиной: всплеск звона – шаг, всплеск – шаг,

он уходит в глубину сцены один. Сидящие в зале А, В, В, Л, С, Л, М, В, Л, Ю, Х отрывают ладони от ушей, гаснет свет. В глубине аудитории открывается окно в хмурый двор, Зачинщик поднимается на подоконник, трясет рукой с колокольчиками – тишина. Он бросает колокольчики на планшет и исчезает в окне. Сидящие в зале одиннадцать громко аплодируют. Сцена пуста.

Впрочем, нет – на ней лежат двенадцать колокольчиков.

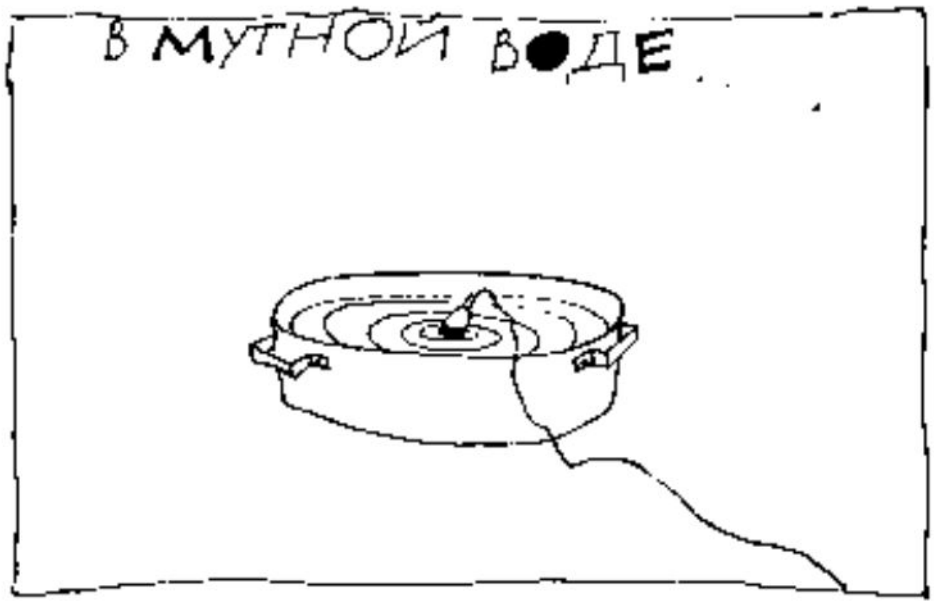
Потом был тренинг.

Двенадцать молодых людей сели полукругом, и каждый полностью называл свое имя, следующий повторял и называл свое, следующий повторял первые два и тоже представлялся. Упражнение называлось «Снежный ком» или «Баранья голова».

Потом мастер курса сказал, что очень важно сохранить дружеские творческие связи, что более крепкой дружбы, чем студенческая, а тем более театральная, у нас никогда не будет. Это хорошо: по утрам в качестве разминки повторять имена друг друга.

Спустя двадцать лет я проснулся от грустного сна. Мне приснились мы: сидим полукругом, знакомимся. И отец, и мастер курса ошиблись: нам не понадобилось звать друг друга по именам-отчествам – не представилось случая.

В мутной воде



– Мне кто-нибудь объяснит, почему абитуриентка ловит воображаемую, простите, рыбу, простите, шваброй?

– Евгений Соломонович, это условность.

– Вадим Сергеевич, при всем уважении к вам, это не условность, а швабра. И если я правильно понял задачу для будущих, простите, режиссеров, каждый из трех выбранных предметов должен стать поворотным в этюде. Воображаемыми могут быть река и рыба, но швабра – конкретный предмет, она не может быть воображаемой удочкой, иначе зачем придумывать эти, простите, этюды? А ловить рыбу шваброй – идиотизм, чтобы там ни воображал себе абитуриент. Я допускаю, что режиссер может стать идиотом, но не приветствую обратной последовательности.

Евгений Соломонович Калмановский прищуривается, почесывает бороду, закуривает сигарету «Dunhill», а второй педагог справа от него, глядя куда-то в воображаемую даль, интересуется неизвестно у кого:

– А почему, собственно, присутствующие здесь критики позволяют себе резкие безапелляционные суждения?

– А вы, простите, кто? – интересуется Калмановский.

– Я педагог на будущем курсе, режиссер…

– Уверены?

– В смысле?

– Простите, я видел ваши спектакли, хорошо, что под рукой у меня не оказалось этого предмета, которым чем-то обаявшая вас абитуриентка только что ловила рыбу.

– Вадим Сергеевич, – вспыхивает второй педагог, – Евгений Соломонович ведет себя оскорбительно!

– Михаил Александрович, просто с Евгением Соломоновичем не надо спорить.

– А что надо?

– Слушать. Я для того Евгения Соломоновича и позвал.

– Для чего «для того»?

– Для ясности, Михаил Александрович, пусть это и не всегда приятно.

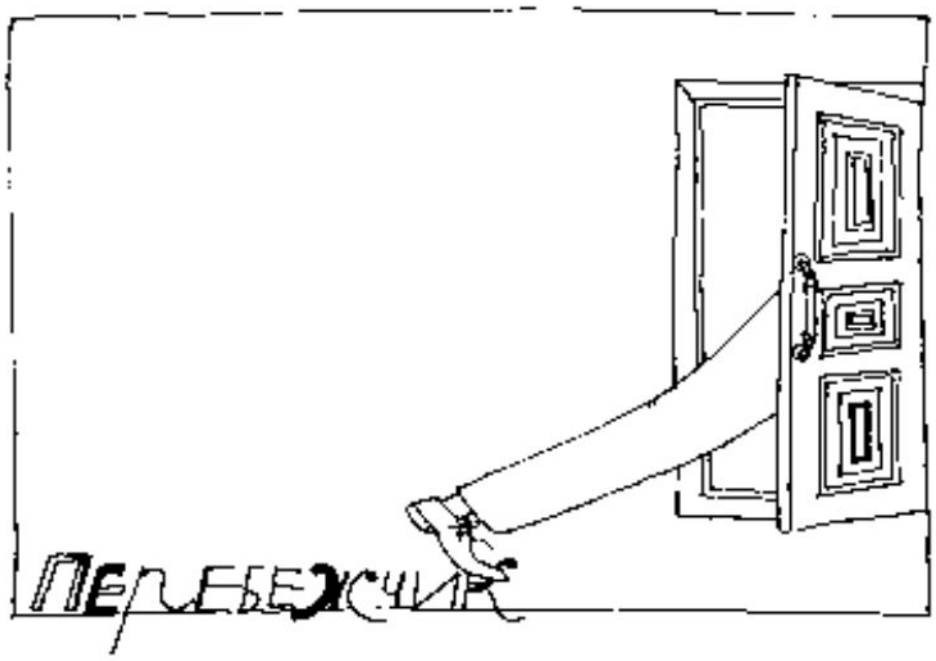
Так и не поймавшую рыбу абитуриентку тем не менее взяли вольнослушателем, а через год зачислили на курс.

Первые полгода будущие режиссеры ходили в зоопарк и делали этюды о животных. Упражнение ставило целью освоение характеров. Еще делались этюды на беспредметное действие: заштопать воображаемой иглой воображаемо порванный воображаемый носок или растопить воображаемую печь, приготовить воображаемый обед – это для развития внимания к деталям. Не понимал и не понимаю до сих пор, как и что эти упражнения развивали. «Беспредметное действие» – название говорит само за себя.

В конце первого курса я несколько заскучал от беспредметности.

Для примера: когда через год из Москвы приехали студенты-первокурсники режиссерской мастерской ГИТИСа, они показывали готовые спектакли, интересные пластические отрывки – они, не теряя времени, сразу занялись театром. А мы изнывали от зависти к ним и досады на себя. Имя мастера их курса – Петр Наумович Фоменко.

Перебежчик



Из курсовой тетради за 1992 год можно исчерпывающе понять или «решительно не понять», чем мы занимались, поступив на режиссуру.

1 сентября. «Художник – сигнальная ракета, выбрасываемая обществом во тьму, освещающая отрезок пути и сгорающая неизвестно где» – из вступительной лекции на тему «Философия режиссуры». Отвечали на вопрос: «Что есть искусство?» Задание: этюд на беспредметное действие

2 сентября. Отвечали на вопрос: «Что есть театр?» Играли в «баранью голову» и оправдание случайной позы.

3 сентября. С аспиранткой Л.: сидели в два ряда vis-a-vis, пересаживались из своего ряда в противоположный. Пришел второй педагог: обсуждали, что театр искусство коллективное.

4 сентября. Показывали зачин. Долго обсуждали. Второй педагог показывал различные варианты выражения идеи. Влад показывал этюд «Закурил в первый раз». Люба – этюд про расчесывание мокрых волос. Попросили распустить свои и стали проверять. У Любы красивые волосы.

5 сентября. Максим пил воображаемый чай из воображаемого стакана, я – водку, Миша и Лёша работали со спичками. Аспирантка Л. «впервые» преподает, с ней мы проводим большую часть времени на мастерстве.

6 сентября. ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ.

Знакомство с Кириллом Черноземовым. Для меня открылся большой артист и режиссер, глубокий и искренний мастер, человек, которого хочется заключить в сердце и держать, долго и подробно всматриваясь и любя. Все, что с ним делаем, – глубоко, сильно, необходимо: «Деточки, не надо трындеть и втягивать меня в дискуссию. Театр – игра, потом уже философия и обобщения. Так что – играем!»

7 сентября. С аспиранткой Л. пришла некто М., такая же молодая и с таким же выражением снисходительной гениальности. Передвигались на корточках по кругу, совершая беспредметное действие. Сели на пол вокруг тапка, «воображали»: у меня тапок был кораблик, а у Максима – крыса. Пришел второй педагог, рассказывал об отношениях Станиславского с Немировичем. Долго обсуждали, для чего необходимы этюды на беспредметное действие и какими они должны быть. Завтра появится наш мастер, Вадим Сергеевич. Наконец-то.

10 сентября. Беспредметно чистили зубы. Аня показывала этюд по картине Пиросмани. Долго спорили о возможности выразить средствами театра стиль художника.

11 сентября. Все напряженнее отношения с аспирантками. Они смеются, когда у кого-то не получается, при этом не могут точно поставить задачу. М. заметила, что говорить, то есть объяснять, совсем не умеет, – хорошее признание для педагога. Ходили змейкой по пещере, как отряд спелеологов. Я что-то спутал, ткнулся в воображаемую стену и выбыл.

14 сентября. Пришел Голиков. Беседовали о режиссуре, беспредметно гладили носовые платки. Разжимали стены справа и слева, поднимали потолок, вдавливали пол, раздвигали потолок и пол. Заходили в воображаемую дверь и здоровались с однокурсником, которого будто впервые видим. Задача: увидеть новое в знакомом человеке. Вадим Сергеевич рассказывал о постановке в Омске.

17 сентября. Беспредметно распрямляли и забивали гвоздь. Вадим Сергеевич дорассказывал о постановке в Омске.

18 сентября. Пришел какой-то тип, хочет в вольнослушатели. Ему поручили этюд «Любит собака молоко, да рыло коротко». Мы с Аней играли в этом этюде. Ужасно: хотелось ему помочь, но при этом не выглядеть идиотами. Помочь не удалось, идиотами выглядели. В вольнослушатели его не взяли. Урок закончился.

19 сентября. Было велено прочитать об образовании и первых годах МХТ. Сели кру́гом, долго молчали – никто ничего не прочел.

21 сентября. Садились полукругом, пересаживались треугольником, квадратом, прямоугольником. Ловили муху под потолком, бегали за муравьем. Вадим Сергеевич рассказывал о своих первых постановках в Университетском театре.

1 октября. Задание: найти примеры оценок в русской прозе. Никто этого не сделал. Вадим Сергеевич сам приводил примеры из двух томов Чехова.

4 октября. Разделились на две группы с целью представить какой-либо церемониал. «Похороны стула». Впереди идет человек с «портретом» стула, за ним четверо несут стул. Все в плащах и с зонтами. Прощаясь, каждый садился на стул и старался прочувствовать в последний раз уходящего товарища. Другая группа показала бракосочетание педерастов.

8 октября. Этюд на «органическое молчание». Дождь. Она под зонтом одна. Нужно без слов встать к ней под зонт.

9 октября. Жарил воображаемую яичницу, топил воображаемую печь, мучительно преодолевая страх «белой обезьяны», скучающей за четвертой стеной. Похвалили мою находку в этюде без слов «Тайное голосование»: голосующий заходит в кабинку один и поднимает руку, за ним – следующий…

15 октября. Второй педагог надоел. Хочется общения не с каталогом цитат и формулировок, но все-таки с личностью.

16 октября. Говорили о темпоритме. Точную формулировку ритма так и не вывели.

16 ноября. Все обрыдло. Сидел в углу, представил: «А вдруг я уже умер, меня похоронили, прошел месяц, и вот все сидят на регулярном уроке. Боже, какие скучные лица». Ужасно.



– Лёшечка, конечно, режиссер, а тем более мастер курса – не зажигалка, так же как рапира – не палка для помешивания дерьма.

Кирилл Николаевич, как всегда, подбирает емкие и нежные образы, они бодрят, радуют слух, запоминаются, следить за игрой его мысли чрезвычайно увлекательно. Порой кажется, он теряет нить и это уже лепет пифии, юродский словарь; что он растворился в поэтической зыби и не вернется никогда. Но вдруг совершенно неожиданно он выныривает:

– Но режиссер, а тем более мастер курса – не огнетушитель. Поэтому советую тебе не тратить время в напрасных томлениях, садись в поезд и езжай в Москву к Петру Фоменко. Встретишь, сразу передай привет от меня. – И зачем-то уточняет: – Кирилла Черноземова. Не стесняйся, желаю удачи.

В Москву, в Москву, в Москву, в Москву, в Москву… – стучит поезд, отбойным молотком раскраивая мою биографию на все, что было прежде, и на всю оставшуюся жизнь.

В первый приезд встреча не состоялась, Фоменко в Вене на гастролях. Москву обдало июньской жарой, двор ГИТИСа засыпает тополиным снегом.

Молодой педагог в комнатухе под крышей проводит консультацию режиссеров-абитуриентов. Обитая лакированной рейкой дверь, французский замок. Помещение напоминает офис или приемную в иностранном консульстве: оконные рамы красного дерева с блестящими латунными щеколдами, мягкая кожаная мебель, раковина-модерн. Все шикарно и помпезно – ГИТИС стал Академией театрального искусства. Но, простите, я точно помню, когда поступал на актерский, здесь был сортир. Да, да, сортир, куда я бегал в минуты непереносимого волнения. Теперь бежать некуда.

– Здравствуйте, я хочу перевестись из ЛГИТМиКа к вам.

– А сколько вы уже проучились?

– Год на режиссерском и четыре на филологическом.

– Ну что ж, почитайте что-нибудь.

– Мне Кирилл Черноземов велел прежде поговорить с Петром Наумовичем.

– Так вы от Кирилла Николаевича? Приезжайте через две недели на консультацию перед вторым туром.

Я спускаюсь к расписанию, узнаю, что на курсе два основных педагога: актеров ведет Евгений Каменькович, а режиссеров – Сергей Женовач, с ним, видимо, мы только что беседовали.

Через две недели ранним утром во дворе ГИТИСа творится что-то странное, похоже на погром или налет мародеров на сельский клуб. Посреди двора тарахтит «пазик», сверху из окна летят тюки, с десяток парней хватают и бросают их в автобус. Забив его до отказа, они разом закуривают, и в облаке дыма кажутся мне удивительно схожими между собой.

– Хорош курить, – распахнув дверь ГИТИСа, кричит, судя по всему, старший и с разбегу ныряет в «пазик» поверх тюков.

Остальные бросают окурки, роем устремляются за ним.

Автобус слегка разбух, двери со скрипом закрываются, но тут же, растащив их руками, высовывается старший и кричит в окно под крышей:

– Сергей Василич, позвони в аэропорт, пусть рейс на Израиль задержа-а-а-тр-тр-тр… – Слова глохнут в реве мотора, «пазик» исчезает.

Сверху в пыльном облаке кто-то чихает: «С богом, Евгений Борисович, авось успеете, ап-чхи!»

Бегу наверх: первый пролет, второй, третий, еще один, потом длинный коридор и дверь с табличкой «Мастерская Петра Фоменко». Стучусь, открываю. У входа штабель неструганных досок, обсыпанная мелом деревянная скамья, выглядываю за штабель: пыль еще не осела, в пустой аудитории за столом кто-то беспрерывно чихает:

– Ап-чхи! Здравствуйте, вы к кому?

– К Фоменко.

– Ап-чхи, ап-чхи! У него сегодня консультация с режиссерами. Он только с самолета на сорок минут, а потом сразу уедет в театр, ап-чхи!

– Но я приехал из Питера, мне сказали, чтобы я непременно поговорил с ним.

– Кто же это вам, ап-чхи, сказал?

– Сергей Женовач, на консультации.

Он перестает чихать:

– Сергей Женовач – это я. И ничего подобного я вам не говорил. Так что приходите в другой раз.

– Но я сегодня уезжаю!

– Значит, не судьба.

Противный какой. Я сажусь на подоконник за дверью.

За полчаса столпилась горстка абитуриентов. «Ап-чхи! Заходите и рассаживайтесь». Из коридора в аудиторию, прижимая к животу портфель, стремительно входит взъерошенный усатый человек. «Ап-чхи, здравствуйте, Петр Наумович!» Дверь захлопывается.

Интересно, правда, вот так приехать из другого города, посидеть за дверью в отглаженных черных брючках, замшевом отцовском пиджаке? А вдруг мне и не захочется к этому Фоменко? Приоткрыв дверь, прислушиваюсь: «…что́ вы как режиссер уже сделали до поступления к нам? – Как что? Но я же только поступаю? – То есть двадцать пять лет вы не были режиссером, потом вдруг стали и пришли сюда?!»

«Ого, – подумал я, – резко! Никто нас так не спрашивал при поступлении. А что бы я ответил?» И, просочившись в аудиторию, на скамье за штабелем слушаю один за другим такие важные, серьезные и настоящие вопросы. Неужели мы с ним не поговорим? Стук в дверь, заглядывает мужчина в очках:

– Петр Наумович, ждем внизу!

– Пять минут, – говорит Фоменко.

Мужчина в очках смотрит на меня, я подношу палец к губам и тихонько выхожу следом.

Сейчас Фоменко выйдет, внизу его ждут, на все про все у меня длинный коридор и четыре лестничных пролета – не густо.

– Эй, парень, у тебя вся спина белая, – прыснула смешком пробежавшая по коридору девчонка.

Смотрю на брюки – они в мелу, и замшевый пиджак – тоже. Бежать в уборную нельзя – пропущу выход, раздеваться и отряхиваться здесь нелепо, но еще нелепее с побеленной задницей решать судьбу. Быстро сняв брюки, принимаюсь их вытряхивать. Выходит Женовач:

– Ап-чхи! Что вы здесь устроили?

– Да вот, испачкался!

– Господа абитуриенты, подождите пять минут, я провожу Петра Наумовича и вернусь.

Фоменко и Женовач уходят, а я стою без штанов в замшевом пиджаке с белой спиной.

Коридор, первый пролет, второй, третий… Отряхнувшийся, задыхаясь от бега, догоняю их у последнего пролета. Стоят. Над их головами портреты великих: Кнебель, Завадский, Таиров, Мейерхольд. Женовач жмет руку Фоменко, проходит мимо меня наверх. У выхода внизу мужчина в очках. Фоменко спускается. Посреди лестницы обгоняю его:

– Здравствуйте, Петр Наумович, вам привет от Кирилла Черноземова. Он сказал, что вы не огнетушитель!

– Петр Наумович, надо ехать! – Мужчина в очках открывает входную дверь.

– От Кирилла? Большое спасибо, а вы?..

– А я хочу перевестись к вам на курс.

– Вы режиссер?

– Да.

– Уверены?

– Нет.

– Я тоже не вполне уверен, сейчас как раз еду экзамен сдавать.

Выходим во двор, у входа белый «жигуль» с треснувшим лобовым стеклом.

– Петр Наумович, дорогой! – навстречу Фоменко, раскинув объятия, идет Константин Райкин.

– Здравствуйте, Костя, поедем?

Встреваю:

– А как же я?

– Как вас зовут?

– Лёша Злобин.

– Лёша, пожалуйста, позвоните мне вечером. Сейчас никак не могу: еду в «Сатирикон», читка пьесы, ввод режиссера, двое уже отказались – для меня это будет экзамен.

– Хорошо, позвоню. Но мне до вечера все равно деваться некуда, можно с вами?

– Костя, у вас в машине есть место?

– Есть одно.

– Тогда поехали.

На подъезде к театру Константин Аркадьевич обернулся и спросил:

– А что вы думаете по поводу фразы «побеждает сильнейший»? Я считаю, что при всей ее банальности она верна, а?

– Посмотрим, – уклончиво ответил Петр Наумович.

В «Сатириконе» готовится к постановке загадочная пьеса Кроммелинка «Великодушный рогоносец». Стоя на большой сцене, Фоменко вздыхает:

– Придется помахивать…

– Что, Петр Наумович?

– Это, Костя, анекдот такой: стоит мужик на балконе, курит. А сверху струя. Он голову поднимает – с девятого этажа кто-то мочится: «Эй, ты хоть помахивай, а!» Очень широкая сцена, придется монологи то вправо, то влево… помахивать.

– Пойдемте, Петр Наумович, в кабинет папы, у нас традиция: перед постановкой посидеть «на дорожку».

Однажды Константин Райкин выгнал приехавшую брать интервью журналистку. За что? Юная особа включила диктофон: «Константин, прошу прощения, забыла отчество…»

В кабинете Аркадия Райкина – фотографии великих режиссеров и звезд эстрады с автографами. Все уселись вокруг большого стола, а мне места не хватило, топчусь у дверей, чтобы не маячить, присаживаюсь на отдельно стоящий стульчик. Зависает напряженная тишина, все косятся на меня. Неужели, думаю, замшевый пиджак наизнанку надел и без брюк сижу. Оглядываюсь: над стулом табличка «Кресло Аркадия Исааковича Райкина». Тут же встаю, и все встают и идут на малую сцену в репзал.

Увидев каре рядов, замкнувших игровую площадку, лестницы по углам, балкон под потолком, Фоменко зажегся: «Вот здесь и будем играть! Тут огромную бочку поставим, сверху подвесим колесо – мельничный жернов: оно крутится и медленно сыплет муку на

голову Бруно – он потихоньку седеет. Днище бочки сдвинем, пусть новобрачные на ней в медовом счастье качаются! А тут по балкону она побежит…»

В три минуты Фоменко придумал спектакль и эскизно сыграл его перед артистами.

Тема «Рогоносца» – сомнение в очевидном: в любви Стелы к Бруно. Герой Кромелинка не в силах вынести совершенства возлюбленной. Ему невдомек, что красота ее вызвана его любовью, он не в силах поверить в преображающую силу своего чувства. И если для Бруно вначале это чудо – счастье, то потом – горе и мука. Терзаясь сомнением, Бруно бросает Стелу на поругание, заставляет спать со всей деревней. Он упустил счастье в страхе его потерять. И страх необратимо сожрал его. Какое яростное искушение, какой печальный фарс!

Но в репетициях это не формулировалось, кто-то на читке поставил вопрос ребром:

– Так изменяла ему Стела или нет?

Фоменко ответил:

– Разве это важно?

– А что важно?

– Счастье не удержать, жить с ним невозможно!

С какой любовью к артисту и зараженностью пьесой, энергичной и полной самоотдачей Фоменко воплощал свой замысел: пожилой человек с двумя инфарктами юлой крутится по сцене, взлетает и сбегает по четырем лестницам, валится на спину и сучит ногами, скорописью любви выводя в воздухе танец восторга. Щемила тревога: все в любую секунду может оборваться, он просто не выдержит – это настоящий театр, трагическая ценность мгновения, полнота жизни.

Ничего подобного я не видел, пока не поехал к нему поступать и не провалился с треском, обнаружив полную неспособность к профессии, которую, как мне тогда казалось, держу за хвост. Однако поездка на старом автомобиле с битым лобовым стеклом продлилась счастливых девятнадцать лет, от Собиновского переулка в июньской Москве 1993-го до Острobрамских ворот в Вильнюсе 9 августа 2012 года. Медленный почтовый поезд памяти вряд ли пройдет этот маршрут со всеми остановками, да и ни к чему, но на некоторых полустанках хотелось бы задержаться.

– Ваша настольная книга? – спросила дама на собеседовании.

– Учитывая, что я параллельно заканчиваю филфак и стол завален книгами…

– И все же? «Моя жизнь в искусстве» Станиславского, «Путь актера» Михаила Чехова, «Репетиция – любовь моя» Эфроса?

– Извините, зачем вы перечисляете список литературы, рекомендуемой абитуриентам к поступлению? Я же перевожусь с режиссерского на режиссерский, ясное дело, все это я читал.

Но дама была неотступна, остальные заскучали.

– Я хочу понять, вокруг чего фокусируется ваш профессиональный интерес?

– Мой профессиональный интерес не фокусируется «вокруг», это звучит странно. Из постоянно читаемых книг, пожалуй – Библия.

В этот момент вошел Фоменко, бросил портфель на подоконник, спросил, не садясь:

– Алёша, а вы какой филфак заканчиваете параллельно с режиссурой?

– Русский, Герцовник, то есть педагогический.

– Я тоже заканчивал педагогический филфак, мы коллеги! А какие задания в прошлом и этом семестре вы делали на режиссуре?

– Этюды на органическое молчание…

Дама встряла:

– Органической бывает только химия, молчание может быть органичным!

«По вам не скажешь!» – подумал я, но вслух продолжил:

– Я тоже удивляюсь большой неразберихе и неточности в режиссерской терминологии: то «отстранение», то «остранение» – у Брехта, то вдруг упражнение на «беспредметное действие», то это «органическое молчание». Я ведь спросил педагогов, не ослышался ли, но меня убедили…

– А в чем суть задания? – интересуется Петр Наумович.

– Этюд, в котором какими-то обстоятельствами обусловлено молчание героев, или же попросту между ними происходит что-то, что не требует слов.

– Хорошо, а еще какие работы в семестре у вас были?

– Отрывки ставили из современной прозы.

– Что за отрывок был у вас?

– Довлатов, фрагмент рассказа «Компромисс», там одного журналиста…

– Не рассказывайте! Жутко интересно. А можете попробовать сделать этот отрывок, но с органическим молчанием?

– Органичным, Петр Наумович, – поправила дама.

– Елена Степановна, у нас в мастерской были такие задания?

– Нет.

– Так что ж вы меня поправляете? У них вот в Питере были, так им лучше знать, органические они или органичные, или ограниченные, или огорченные, огорошенные…

– Извините, – смутилась дама.

– Так чтó, Алексей, попробуете скрестить? Сделать органично молчащей современную прозу?

– Попробую, Петр Наумович.

– Удачи.

У Довлатова в «Компромиссе» идет вербовка. Журналист к 7 Ноября опубликовал статью о лояльно настроенном к советской власти Капитане заграничного судна. Капитан оказался эстонским перебежчиком, его арестовали. И вот Журналиста вызывают к Редактору, там уже сидит Гэбист; Редактор ретируется, а Гэбист вербует Журналиста: ему нужно «дело» на Капитана, и он предлагает Журналисту «признаться», что Капитан-перебежчик склонял его к преступной половой связи.

Вся суть сцены в остроумном диалоге и ярких характерах, которые через этот диалог выявляются. Ну и как мне эту сцену решить в «органическом», будь оно неладно, молчании?

Допустим, поначалу молчание может носить грозовой безмолвный характер: заходит Журналист, в редакторском кресле хмурый гость в штатском, показывает удостоверение, кивает Редактору, тот исчезает – и дальше что? Как это все без слов сыграть-то? Записки они, что ли, будут писать друг другу?

Пригласив двух, показавшихся наиболее внятными абитуриентов, я принялся репетировать. Короткий эпизод с Редактором решил сыграть сам, чтобы не тратить время и силы на поиск третьего артиста.

Придумал строить сцену на загадке. Гэбист так боится, что подслушают и настучат (все-таки редакция газеты!), что вынужден ежесекундно подбегать к двери, проверять «жучки» в столе и в кресле. Потом он сует Журналисту его статью с портретом Капитана, а потом – заполненное заявление, которое Журналисту надо подписать. И для зрителя, и для Журналиста поведение Гэбиста будет тревожным нарастающим ребусом, и лишь когда Журналист прочтет «свое» заявление, он возмущенно закричит. И все сразу поймут, в чем там было дело.

Артисты увлеченно размяли сцену, мы запаслись красными корочками, обрывком газеты с портретом моряка и бланком заявления, где я настрочил провокационный текст,

который, по моим расчетам, должен был сильно удивить прочитавшего его артиста и подвигнуть совершить неожиданную выходку.

– Готовы? – спросил Петр Наумович.

– Попробуем, – ответил я.

Гэбист честно отыгрывал все шорохи и звуки, реально доносившиеся из коридора, подбегал к окнам и выглядывал во двор, обильно потел и тряс газетной вырезкой с портретом Капитана. Журналист внимательно следил за ним, а когда тот сунул ему статью и показал скрещенные перед глазами пальцы, сильно напугался. И вот Гэбист кладет перед Журналистом исписанный листок и сует авторучку, мол, «подпиши». Журналист внимательно читает заявление, багровеет и кричит единственную во всей сцене реплику:

– Этого мне только не хватало – понравиться гомосексуалисту! – затем выбрасывает руку в фашистском «зиг хайль» – и скандирует: «Служу Советскому Союзу!»

Комиссия сидела с каменными лицами, дама-книголюб мысленно перечитывала Библию, Петр Наумович органично вздохнул и не сказал ни слова. Компромисс между современной прозой и органическим молчанием не случился. Вместо того чтобы, шантажируя Журналиста, вырвать у него ложное признание, получилось, что Гэбист склонял Журналиста к преступной связи. Это был провал.

28 июля 1993 г.

Кто бы мог подумать… Сижу в сквере ГИТИСа – не уйти. Проигрался глупо до слез. Как все увлекательно начиналось! А теперь понял – ситуация конкурса не для меня. Как только кого-то должен побеждать – теряюсь. Я не игрок.

Как же я поступил в Петербурге? Конкурса не было. С первого дня было ясно – ни у кого не надо выигрывать, конкурентов нет. Это хорошо при поступлении, но потом – потом началась разлагающая скука.

Теперь проигрыш, надеюсь, пойдет мне на пользу. Самое скудное зло с гнильцой – подлое прозябание, основанное на взаимном признании бездарей.

Готов писать до бесконечности, лишь бы не уходить, поторчать еще в этом прожженном моими ожиданиями сквере. Надежда, нелепая вера в себя, в свою звездность, после провала топит, топит сухой лед самоуспокоения в кипятке уязвленного самолюбия, и все покрывается паром, и цели перестают быть ясными, и все окружающее становится несущественным.

Не идет из головы одна деталь. После третьего тура у Фоменко собрали всех, чтобы убедиться, что никто не забыл показаться. Объявляют список. Фоменко сидит, на все отсутствуя. А когда назвали меня, он как-то непроизвольно и брезгливо дернулся, как будто говоря про себя: «Какая глупость, что связался с ним». Тесно вспоминать этот жест. Он правдивее и ярче последовавшего за ним утешения: «Будете в Москве, звоните, приходите на репетиции, а сейчас ничего страшного не произошло».

Вернулся в Питер. Утром пришел на репетицию. Мастерская превратилась в хлев. Окурки везде, немытые стаканы, пустые коробки из-под чего-то молочного, заросшие изнутри плесенью. Посреди аудитории стол, на нем – высокая жестяная реквизитная кружка, доверху набитая заплеванными бычками.

А дома затеяли ремонт, и отец сказал: «Единственно, что успокаивает, – это последний ремонт в моей жизни». Больно.



Жара, или Сказка о потерянном времени



Умер Вадим Сергеевич Голиков. Почему-то такие известия получаешь от самых неожиданных людей. Позвонила ассистент по актерам Татьяна Комарова – оказывается, В. С. накануне снимался у Германа, на следующий день умер. Узнав о случившемся, я продолжил важный производственный разбор на съемочной площадке, потом сел в машину, что-то рассказывал попутчикам о Голикове, позвонил однокурснице Ханне в Норвегию, она теперь главреж – в разговоре превалировала внезапная радость слышать друг друга. Когда уже доехали и в ночном магазине выбирал водку, чтоб выпить за Вадима Сергеевича, стало горько и грустно, и я понял, что у меня горе. Жил-был человек, он называл меня Женей. Вот нет теперь его. Путаются мысли.

Он говорил нам: «Не ссорьтесь, у вас никогда не будет людей ближе друг другу, чем вы». Так не случилось. Вадим Сергеевич, я рад, что позвонил вам в Новый год и поздравил – не так стыдно. И я очень обрадовался, услышав вас по телефону. Приходит горькая догадка – ведь мог бы радоваться чаще.

На третьем курсе я снова решил уходить…

– Женя, фу ты, Лёша Злобин, вы что, спите?

– Я не сплю, Вадим Сергеевич, вы закончили на том, что во Владивостокском драмтеатре директор вам сказал…

И Вадим Сергеевич, называвший меня Женей, продолжал свой рассказ. А я снова засыпал с открытыми глазами.

Он был добрый интеллигентный человек, но он не занимался с нами ремеслом, мы профессию не осваивали, мы о ней говорили.

И завидовали только что набранному курсу молодых режиссеров. Их два месяца выбирал Мар Сулимов, ощупывая и проверяя каждого, измучивая абитуриентов потоком этюдов,

написанием режиссерских экспликаций. В результате он взял только шестерых из нескольких сотен поступавших. Режиссер – профессия штучная.

А нас, прекрасных, за последние три тура осталось из четырнадцати двенадцать + одна вольнослушательница. Шесть мальчиков и семь девочек, мы ругались в каптерке, кому мыть посуду и выбрасывать окурки. Никто, за редким исключением, не состоялся в профессии, оказался нежизнеспособным, и хорошо, если не винит судьбу, а честно дышит на иной стезе.

Набрав курс, Мар Сулимов умер. Ректорат пошел на поклон к Александру Александровичу Музилю, старейшему педагогу, «последнему из могикан», ему было уже 84 года, и он только что выпустил свой последний режиссерский набор. Музиль решительно отказался, ректорат и осиротевшие студенты-новобранцы «встали на колени».

Тем летом отец с матерью ездили знакомиться с внуком Женей. Отец, кажется, был безразличен. Что его угнетало: подступающая болезнь, вынужденное бездействие – тюрьма обстоятельств? Острое чувство невостребованности, еще бы: на его глазах разваливалось Ленинградское телевидение, которому он посвятил двадцать пять лет жизни. Казалось, началась перестройка, гласность, сейчас-то и будет возможность реализовать все накопленное и нереализованное. Он и его ученик Роман Федотов успели сделать прекрасный телеспектакль «Ричард II» с Александром Романцовым и Николаем Лавровым в главных ролях. Но вдруг все резко закончилось: вернувшиеся из отпуска сотрудники телевидения пришли на работу, а их не пускают. Студия оцеплена ОМОНом, висит объявление, что тех, в ком студия заинтересована, переведут на контракты, остальным – «до свидания». Три «скорых» увезли с улицы Чапыгина трех заслуженных работников. Отцу всучили какую-то политическую передачу – это после Шекспира-то! А потом передачу закрыли, платили небольшую зарплату, но работы не давали.

Мысли разбегаются, не поймать. Сижу на балконе, обхватив башку руками, – решительно не помню, зачем проснулся.

– Лёшка, желаю тебе по случаю рождения, чтобы завалило работой, завалило так, чтобы не думать, – чье-то поздравление с утра, не помню чье.

Ужасная жара стоит над Москвой уже неделю.

Женя-дед идет со встречи с Женей-внуком. Автобусов нет, ноги не слушаются. Остановился передохнуть. Подступающая болезнь и постоянная тревога – он не работает: не ставит спектакли, не учит студентов, не снимает передачи. Раз в месяц ходит за подачкой-зарплатой и сутками сидит дома. И уже не понятно – болезнь от тревог и бездействия или наоборот. Его все угнетало, он стремительно старел, и тут позвонил Музиль.

Когда на дипломе в театре на Волге я из постановщиков попал в ассистенты, отец писал, чтоб морально поддержать, как трудна роль «второго». Как важно точно уловить психологию «второго», как он двенадцать лет был «вторым» у Музиля. Эти годы с восторгом вспоминают три режиссерских курса, разные главрежи театров страны, и благодарят отца. Этого он не написал, это я сам слышал от его учеников-режиссеров. «Как важно научиться психологии „второго“, и как важно при этом не потерять себя». Они с Музилем пятнадцать лет не слышали друг друга:

– Алло, Женя?

– Да, кто это?

– Сан Саныч. Женя, слушайте, мне тут сунули курс, а второго педагога нет, все так внезапно, и я, конечно, сразу позвонил вам. Вы свободны сейчас?

– Конечно.

И у отца тут же перестали болеть ноги, он танцевал, позвал маму и меня и плясал, что-то весело напевая, он помолодел на те …дцать лет, что они не виделись с Музилем. На следующий день, резко встав со стула, он упал, ударился головой. Все определилось

само собой – все несводимые аргументы, не ловящиеся за хвост мысли, вся необъяснимость жизни, эта психология «второго», этот страх признать себя неудачником.

Неудачником? Природа щедро одарила его талантом, и не только художественными способностями и мощной режиссерской доминантой, которую в бездействии приходилось подавлять, но исключительным педагогическим даром, удивительным искрящимся остроумием, чувством юмора, легкостью и глубокой добротой сердца. Но подавляемая бурлящая энергия, ощущение несостоятельности, обида…

Я тоже был вторым, у Германа. Как-то в минуту ссоры он сказал: «Я думал тебе помочь. Твой отец был самый талантливый на курсе – самый. Но из него ничего не вышло». Вот, думал, никогда не прощу этого Герману. Простил. И благодарен – горькие слова полезней сладких. Нет никакой «психологии „второго“», есть профессия, и все.

Я с равным восхищением и нежностью вспоминаю репетиции отца, его озаренность в работе и наши разговоры, вернее, его монологи – рассказчиком он был гениальным. И Германа я любил в первую очередь – что отца напоминал, что одного круга, – он другой, но из той же связки: «Ты сын моего сокурсника, и я приглашаю тебя на площадку»… Это и было для меня пропуском, то есть не почему он, Герман, меня позвал, а почему я пошел: быть рядом с отцом, когда его уже не было рядом. Но чаще вспоминаются не репетиции отца, не его монологи, а то, как он кормил птиц по утрам, как мог заговорить с собакой на улице, как дурачился по телефону: «Алле, на проводе! Дорогая малютка, поговорим о ерунде…» Профессия – вещь социальная, но не в каждом социуме выскажешься. А любовь – она безусловна.

Ломит голову – сгущаются тучи, будет гроза. И радостно, что, прорываясь в духоте и зное этой недельной стоячей жары, лишь начал о ней писать – пошли предвестники прохлады.

В том июле родился сын, а в сентябре заболел отец. У меня начался III курс.

Вадим Сергеевич шел походкой недострелянного интеллигента по улице Моховой с очередного занятия по мастерству. Я – следом, дожевывая скопившуюся зевоту.

– Женя, почему вы спите?!

Он оговаривался и по забывчивости называл меня Женей: сперва путал с отцом, они были хорошо знакомы в молодости, потом с сыном. Вадим Сергеевич обожал свою внучку, и, когда у меня родился сын, он все расспрашивал: «Как поживает Женя?»

– Я не сплю, Вадим Сергеевич, вы закончили на том, что во Владивостокском драмтеатре директор вам сказал…

А сам уже просто не мог часами слушать рассказы о творческой биографии мастера. Я понял: пора что-то решать.

– Вадим Сергеевич, по семейным обстоятельствам ухожу в академку.

Это была уважительная причина, позволявшая не обижать его, а ему не обижаться на меня. Я подал в ректорат заявление, решив – переведусь двумя курсами младше, лучше хоть месяц, но у Музиля, чем эти пожизненные лекции. И как знаменательно, что я приду учиться к Музилю, это порадует и поддержит отца – к Музилю!

Через день мне поставили штамп на заявлении об академке, я счастливый иду по коридору мимо мастерской Музиля, в которой мне предстоит учиться, встречаю лаборантку с кафедры режиссуры:

– Оля, что мрачная такая?

– Лёша, у Сан Саныча инфаркт.

Теперь я был полностью предоставлен заботам о сыне и больном отце, а институт и режиссура из настоящего нырнули в прошлое, ничего не обещая в будущем.

На гастроли в Питер приехал Фоменко. «Питер – тайное недоброжелательство…» – не раз, шутя, цитировал Петр Наумович перефразированный эпиграф из «Пиковой дамы». В семидесятые он ставил в Ленинграде, потом возглавлял Театр Комедии – наверное, имел основания к мрачной иронии. Но та театральная осень была поистине «очей очарованьем»: в ЛГИТМиКе шли показы студийцев, в Театре на Литейном – «Волки и овцы» Островского и «Как важно быть серьезным» Уайльда, в БДТ – «Балаганчик» Блока – спектакли Мастерской. «Сатирикон» привез «Великодушного рогоносца», а вахтанговцы – «Без вины виноватые».

Этот спектакль играли в двух залах Аничкова дворца, в те годы – Дворца пионеров имени Жданова. Я напросился на репетицию. В лепнине и зеркалах шел технический прогон. В Зимнем саду журчал фонтан, чопорные сотрудники стряхивали пыль с кресел и проверяли, у всех ли артистов на ногах сменная обувь.

– А где здесь курят? – спросил Фоменко.

Смотрительница, слегка бледнея, прошептала:

– Видите ли, у нас детское учреждение… пойдемте, только чтобы никто не узнал.

Толпа артистов гуськом потянулась за Петром Наумовичем. Череда узких коридоров, поворот, ступеньки, еще поворот. Крохотный тамбур завален досками и строительным мусором. Фоменко, присев на корточки, достает тонкую сигарету и, глубоко затянувшись, выдыхает:

– А здесь-то поуютней!

На представлении зал набился до отказа, я уселся в проходе у стены.

– Мальчик, подвинься! – За спиной игривый хохоток, меня обволокло волной духов, и рука в перчатке легла на плечо.

Зал глядел на меня, а я на актрису Максакову в роли госпожи Каринкиной. Так мы впервые увиделись с этой удивительной женщиной.

Ночной звонок уже в другом тысячелетии – Людмиле Васильевне не спится:

– Мальчик, я придумала кино! Представь, под утро… гости разошлись, а она, старая актриса, одна в гостиной за выпотрошенным столом и, чуть не плача, смотрит в камеру: «Хотите, я расскажу вам свою жизнь?» И холодный голос из-за кадра отвечает: «Не надо». Вот и все кино, мальчик. Сними его, и ты проснешься великим. Или вообще не проснешься. Ну пока, целую тебя.

Через двенадцать лет я снова увидел «Без вины виноватые». На иных ролях уже не раз сменился состав, постарели все, многие умерли – а спектакль ошпарил меня. Чем? Он не состарился, он был совершенно живой – легкий, захватывающий, праздничный. Неужели его я видел тогда в Аничковом? Почему же не помню такой силы впечатления? Потому, что тогда это казалось нормой – хорошие артисты хорошо играют хороший спектакль. А что ж теперь, если увиденное тогда кажется шедевром?

Что теперь?

Говорить не хочется.

По заснеженному Невскому идет веселая компания. Я уже всех знаю в лицо – это Петр Фоменко и его артисты. Гастроли закончились, отшумел прощальный банкет.

– Привет, Лёша Злобин! – и он неожиданно обнимает меня и, сняв шапку, целует в щеку, – не пропадай, дай бог, все сложится, дай бог!

В ночи я в который раз посмотрел телефильм «На всю оставшуюся жизнь» – мощно, глубоко, профессионально. В титрах значилось: сценарий Бориса Вахтина и Петра Фоменко. Они были близкими друзьями, Борис Вахтин умер в 1981-м. Наш Вадим Сергеевич дружил с Вахтиным и ставил на курсе его пьесу «Абсолютно счастливая деревня», но дело не шло, вяло тянулись из семестра в семестр говорильные репетиции, и абсолютно никто не был счастлив, кроме двух исполнителей главных ролей. Странное сближение: когда-то наш Вадим Сергеевич из-за Петра Наумовича ушел из Театра Комедии. Дело прошлое, сейчас

о другом: я гордился успехами на первом курсе, пока не поехал поступать к Фоменко и не провалился. Стыдно, наверное. Этот стыд меня и спас, заставив уйти оттуда, где, как мне казалось, профессией не пахло.

Два месяца на кухне у родителей я курил папиросу за папиросой и был счастлив мукой бумагомарания. А курс выпустил-таки спектакль по пьесе Вахтина: позвали на премьеру, потом на банкет. Атмосфера была душевная, все-таки итог двухлетней работы! Мы сидели с Вадимом Сергеевичем, выпивали, курили, и я вдруг сказал:

– Вадим Сергеевич, хочу вернуться. Понимаю, много пропустил, но все же, разрешите приходить в аудиторию в свободные от репетиций часы и делать отрывок?!

Вадим Сергеевич разрешил.

Я позвал артистов с параллельных курсов репетировать сцены из «Игроков» Гоголя. Счастливые и удивительные дни. Счастье, когда сам для себя, не будучи официально студентом, часами репетируешь захватывающий материал; удивительно, что, ежедневно занимая аудиторию, я за три месяца работы не помешал никому из однокурсников – они почему-то не приходили.

Жара, жара, духотища страшная, на балкон просто не выползти – сгоришь. А до той жары, той странной и страшной минуты осталось совсем чуть-чуть.

В мае мы были готовы, хотя официальный экзамен в июне. Но мои артисты-выпускники должны разъезжаться, поступать в театры, и я попросил мастера принять отрывок раньше. Назначили на 29 мая, 10 утра.

До показа вымыл в аудитории пол, разложил реквизит, проверил декорацию. Я уже не волновался, понимал – отрывок «сделан». Сложное решение, выбор главного героя – актер пантомимы (все построено на пластике), иронично-мистическая интонация. Собрались зрители, в основном со стороны. С курса пришло двое – А и Х, остальные не проснулись.

А через час по институту неслось: «Замечательная работа!», «Какие артисты!», «Гениальный Ихарев!» – это о Дмитрии Смирнове, он почти не говорил, но потрясающе пластически выразил образ обманутого бандитами гастролера. Хмурые однокашники поздравляли с победой. Мастер поставил «отлично» и настоятельно рекомендовал делать из отрывка спектакль. До курсового экзамена оставалось две недели. Наши как прóклятые бросились наспех репетировать.

А я уехал на дачу вблизи Ладожского озера. И страшная жара радовала, потому что я переживал ее не в городе и с чистой совестью, в то время как ленивые коллеги жрали друг друга в паучьей банке – аудитория одна, а их одиннадцать.

Меня назначили вести зачет – благо, сдав «Игроков», был уже не занят. И было больно за ребят, наспех слепивших свои отрывки; они сами видели, как все дохло, глупо, скучно, – чуда не произошло, ни у кого. Но всем поставили средний балл – из милости, чтобы не лишать стипендии. И мне тоже – средний.

Как, почему? Оказывается, председатель комиссии Вениамин Фильштинский потребовал, чтобы мне поставили «неуд» и выгнали с курса – ведь ни он, и никто с кафедры не видел «Игроков». Наш мастер учтиво признался, что стоило больших трудов меня отстоять. Я вскипел:

– Простите, Вадим Сергеевич, не хочу обидеть коллег, но все, что сегодня было предъявлено, – халтура, и вы это знаете лучше меня. И вы знаете, как подробно, добросовестно и, главное, с каким результатом делались «Игроки». Но вы не пригласили кафедру на мою сдачу – почему?! Мне стыдно перед моими артистами за этот «средний балл» и за ваше малодушие.

Почему тогда все так произошло и почему сегодня, через тринадцать лет, в жару конца мая 2007 года, я вспоминаю жару тех же дней, 95-го?

…Я лежал на даче и не думал ни о чем, редкие облака медленно проплывали в знойном ультрамарине. Трое суток я отсыпался, отъедался и был физически, животно счастлив. И вдруг тихо-тихо, будто дальнее эхо, засвербела мыслишка: как же я продолжу работу над «Игроками»? Ведь я не вижу решения спектакля, все выплеснулось в сделанном отрывке и дальше не шло. Чтобы продолжать, нужно все начинать заново, перепридумать весь объем пьесы!

Я испугался, мысли роились, наполняя душу страхом, ленивую душу – ложным большеглазым страхом, и пришел-прислышался тихий-тихий вопрос:

– А ты хочешь этим заниматься? Вообще, этой профессией? Ведь так хорошо лежать на солнышке и ничего не делать? Тебе это нужно, скажи?

Лучше бы я промолчал, да я и промолчал, наверное, но кто-то во мне, такой тихий-тихий и, как показалось, честный, вкрадчиво ответил:

– Нет, не хочу. Не хочу, потому что это больно и трудно.

Я не подумал тогда, что «больно и трудно» – это сопротивление материала, болезнь роста. Что именно потому, что больно и трудно, это и надо делать, это необходимо, это должно стать привычкой, тогда будешь расти.

К каким результатам привело это тихое согласие, никому на земле неведомое признание? На зачете с темой «режиссерское решение» мне, гордому победителю, чуть не влепили «пару». Но ты же сам себя предал, Лёша, посмотри в зеркало?

Из зеркала смотрит лицо чужого человека, лицо беглеца.

Через неделю после рождения сына я стоял над его кроваткой, а он кричал и никак не успокаивался. Я не брал его на руки, считал, что это капризы и он должен успокоиться сам. Подошла бабушка.

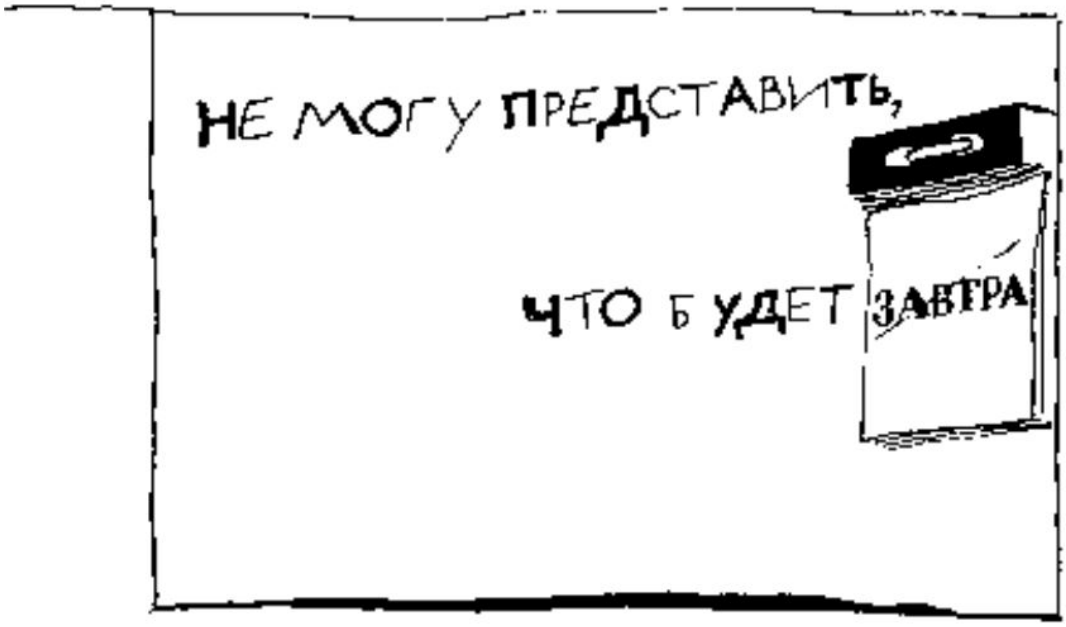
– Не берите его на руки, не балуйте!

– Что ты понимаешь, Алексей, отойди, у меня двадцать лет педагогического стажа.

– Ах так, тогда сами его и воспитывайте!

Где теперь мой сын? Стоит ли удивляться, что ни сегодня, ни год назад в этот день он не позвонил: «С днем рождения, папа!»

Не могу представить, что будет завтра



– Фоменко умер!

– Фоменко жив!

Умер, жив, умер, жив…

В Питер привезли «Пиковую даму». В ночь после показа в гостинице «Октябрьская» у Фоменко обширный инфаркт. В эту ночь от тромба в сердце умер талантливейший Коля Павлов и с сердечным приступом попал в больницу Сергей Курехин.

А мы сыграли премьеру по Уильямсу и пьем с артистами Иваном Латышевым и Машей Жуковой коньяк из пластиковых стаканчиков в скверике у Никольского собора.

– Ну, помянем…

– Ну, за здравие…

И разрывается телефон, путая новости: Фоменко умер, Фоменко жив, умер, жив, умер, жив…

«Главное качество режиссера – держать удар», – любил повторять Петр Наумович. Это боксерский термин.

Уильямс смертным грехом считал жестокость.

Фоменко – примерно то же самое – сердечную недостаточность.

Иные пьесы лучше не трогать – затянут, вывернут и захлестнут твою жизнь.

Уильямс из штата Теннеси высыпал на ладонь горсть таблеток, он не буквально следовал назначенной дозировке, а скорее руководствовался настроением – «когда накатывало». Слизнул с горсти антидепрессанты и, как обычно, запил недорогим, но хорошим виски, после чего принялся варить кофе на плитке. Очнулся в психбольнице с диагнозом «острая депрессия» и обширными ожогами – обварился кофе. Он-де не знал, что нейролептики, или как их там, не сочетаются с алкоголем, а Док не предупредил. Поначалу Док предложил курс психоанализа, но Уильямс категорически отказался:

– Док, вы меня исправите, и я не смогу писать пьесы!

– Вы их и так уже не пишете, творчество невозможно при такой душевной подавленности.

Тогда возникли эти антидепрессанты, которые, видите ли, не совместимы с хорошим недорогим виски. Уильямс всегда был небрежен с лекарствами, и в отеле «Елисей», где он обыкновенно останавливался, с ним всегда был рядом кто-то, кто подавал снотворное на ночь. Когда однажды рядом никого не оказалось, он сам выплеснул в стакан снотворное и не заметил, что пробочка от флакона плюхнулась туда же.

А тогда в психушке, несмотря на «острую депрессию», он все же накатал с десяток коротких загадочных пьес.

Мне предстояло ставить преддипломный учебный спектакль в одном действии. Актеры-молодожены Коля и Катя принесли мне одноактовку Уильямса. Чтобы понять содержание этой короткой драмы, потребовалось прочесть всё: все его пьесы, сценарии, новеллы и дневники. И понять – эта пьеса может быть о чем угодно, любая ситуация, возможная между мужчиной и женщиной, в нее вместится. Главное – все прошивающая интонация боли и жалости, искупительного сострадания и неразрешимого одиночества. В молодости эти вещи чувствуешь и понимаешь острее, лучше, в силу обманчивой безопасности от ощущения, что все еще впереди и возможны варианты. Позже – попросту живешь ими, понимая, что это единственный путь, царский путь сострадания, «Camino Real» – «Королевская дорога», или «Реальный путь», как называется одна из пьес Уильямса. В финале новеллы, названия которой не помню, мальчик-выпускник насилует выпускницу-девочку. Оба они были отщепенцами, гадкими утятами, всеобщим посмешищем. Ее, неуклюжую дуреху, втолкнули в круг на выпускном балу и заставили танцевать с этим увальнем. Оба сгорали со стыда, а вскоре поехали вдвоем на пикник. Там, подавляя неловкость и борясь со своей позорной «немужицкостью», он повалил ее на траву. Заканчивает Уильямс гениально: они не стали ближе друг другу, оба только острее ощутили каждый свое одиночество, но и поняли, как одиноки они в этом мире; он подал ей руку, помог подняться, и они пошли вместе, не говоря ни слова, жалея друг друга.

С молодоженами Колей и Катей пьесу «Не могу представить, что будет завтра» мы репетировали месяца четыре, и у нас ничего не получалось. Во-первых, потому, что пьеса была не про них – их реальная жизненная ситуация никак не совпадала с пьесой, не питала ее. Я говорил Кате:

– Понимаешь, Она, твоя героиня, знает, что сегодня умрет, что это ее последний день!

А Катя мне отвечала:

– Это невозможно, человек не может знать, когда он умрет!

Такая здоровая психика. А то, что человек может быть охвачен страхом, ощущением конца, гибельной уверенностью – в миропонимание молодой актрисы не вмещалось. И слава богу!

Другая причина «тупика» заключалась в том, что муж Кати был режиссером, о чем еще не знал. Он играл в моем отрывке по гоголевским «Игрокам» и в репетиции привнес много замечательных решений и догадок. Более того, когда основная сцена «Игроков» вдруг соскочила с жанра и из «иронически-мистической» стала бытовой, именно Николай Дручек заметил это и своим предложением «взорвал» сцену и поднял весь отрывок на новый уровень. Я не догадался тогда, что имею дело скорее не с артистом, а с режиссером, который через год поступит на курс Фоменко и поставит блестящий отрывок из гоголевской «Шинели». В работе над Уильямсом его «режиссерство» выражалось в том, что все нарепетированное днем в аудитории за ночь в семейной «мастерской» превращалось во что-то совершенно другое и не то, что видел в пьесе я. Никто из нас еще не знал, как «правильно» делать спек-

такли. Мы измучили друг друга и решили во имя сохранения искренней и крепкой дружбы завершить совместную работу.

До окончания семестра и сдачи спектакля оставалось полтора месяца, за четыре – мы не сдвинулись с мертвой точки, я понял – это «пожар».

Сижу на кухне в квартире жены. Через коридор за закрытой дверью в дальней комнате спит полуторагодовалый Женя Злобин, за стеной теща-детский-врач смотрит телик, напротив ровесница-сокурсница по филфаку Герцовника, моя жена Мария решает «расставить точки над i»:

– Мы тебя сутками не видим, заработков никаких, сын растет без отца…

– Женя большей частью спит себе спокойно, а вчера я читал ему Мандельштама…

– Не юродствуй!

– Вообще-то, у меня сердце побаливает, давай отложим этот разговор, пожалуйста…

Я наспех прихлебываю из французской кружки куриный бульон и мучительно придумываю, как сообщить жене, что в единственный за последние полтора месяца выходной я не пойду гулять с сыном, а поеду на другой конец города в общагу ЛГИТМиКа договариваться с артистом Сашей об участии в спектакле по Уильямсу.

– Тебе неинтересно, чем я вообще живу…

– А тебе интересно?

– Не хами!

Я не хочу хамить, но с каждым глотком бульона и словом жены почему-то все больнее теснит грудь. Я бы с радостью рассказал о вчерашнем счастье, когда актриса, тоже, кстати, Маша, с курса Фильштинского, такая замечательная, она так трогательно сыграла в курсовом спектакле по Феллини, и я, взволнованный, предложил ей попробовать Уильямса, и вот вчера она позвонила и сказала: «Да, давай это сделаем!», и я так обрадовался, просто сиял от счастья. Но, по-моему, моей жене не очень интересно слушать про тронувшую мое сердце актрису Машу…

– Так вот, сейчас, когда Женя проснется, ты пойдешь с ним гулять, а я…

– Маша, давай не будем ничего выяснять, но я не пойду гулять с Женей…

– Да? Это почему же…

И началось что-то долгое и мучительное, и мне казалось, что вот сейчас в груди у меня что-то лопнет, и бульон этот в кружке французской из небьющегося стекла никак не хочет остыть, а мне уже бежать надо, потому что если я сейчас не поеду уламывать артиста Сашу, то, во-первых, могу его не застать, а, во-вторых, вернусь заполночь, и это еще хуже, в смысле семейно проведенного единственного за полтора месяца выходного. Маша продолжает говорить что-то тихое и мучительное, она никогда не повышает тона, а мне хочется кричать, но не могу, потому что в груди просто жжет, этот чертов бульон, эта кружка, подаренная на Новый год из французского, будь оно неладно, небьющегося стекла! Сзади кафельный угол и раковина…

– Маша, перестань, пожалуйста, Маша, перестань, перестань, Маша-а! – шепчу, глотая воздух, неужели она не видит, что мне плохо, – Маша-а-а!

Я разворачиваюсь и бросаю, не резко, а так слегка – она ж небьющаяся – французскую кружку с недопитым бульоном. Кружка ударяет в кафельный угол и сотней брызг осыпается в раковину; сердце мгновенно отпускает, я легко встаю, иду в коридор, быстро ступаю в туфли, и дверь за мной захлопывается. Весенней бодростью встречают у подъезда первомайские сумерки. Женя, должно быть, проснулся от звона стекла; но к остановке уже подкатывает троллейбус, как раз мой.

– Так вот, сторож этот картавый, в общаге, седой и плешивый, оборжаться можно от его романа со студенткой! Делово так заявляет, представляешь: «Ну, продрал я ее хорошенько. – Он картавит, и получается „пгодгал“. – Да, пгодгал… Девка она, конечно, хогошая, только кугит, пгоститутка!» – Нинка заливается басовым смехом и гасит окурок в допитой рюмке.

Однокурсница Нина, матерщинница и оторва, пришла к нам совсем недавно после короткого декретного отпуска по случаю рождения второго ребенка от того самого Саши, к которому я ехал сейчас в так вовремя подошедшем троллейбусе. А не подойди он так вовремя, ведь я оглянулся бы на окно в восьмом этаже, горящее в ранних майских сумерках, взбежал бы, не дожидаясь лифта, распахнул бы еще не запертую на ключ дверь; но подходящий троллейбус прозвенел: «Не думай, не оглядывайся, беги!» И я побежал. Нина сокрушалась вчера: «Сашка бросил меня, гад! Ну да, пришла пьяная в ночи, а он там с ума сходил. Но я же люблю его, понимаешь, люблю!» Она замахнула еще рюмку, обняла меня и прошептала с грустью: «Хорошо, Злобин, что ты позвал его в Уильямса, он ведь такой талантливый! А я хоть буду видеть его изредка на твоих репетициях. Я ж и в институт из декрета вернулась только ради него, а так бы давно уехала в Москву домой, надоел уже этот Питер!»

Саша действительно талантливый, занят во всех курсовых спектаклях Юры Бутусова, а Юра – самый интересный режиссер сейчас в институте. Он специально на Сашу поставил «Записки из подполья» Достоевского. И когда я предложил Маше с курса Фильштинского пьесу Уильямса, она сразу выдвинула условие: «Если партнером будет Саша – я согласна». Саша серьезный артист, востребованный, занятой, он взял четырнадцать страничек пьесы, пролистал и обещал через день дать ответ:

– Приезжай ко мне в общагу первого мая – обсудим.

– Но там же Нина, мы толком не сможем поговорить…

– Нины не будет, – хмуро сказал Саша.

Дверь открыта настежь, посреди комнаты красивым профилем на фоне окна стоит Саша, Нина горячо обнимает его, оба плачут. Увидев меня, Саша выходит в прихожую:

– Завтра репетируем, пьеса замечательная, кто партнерша?

– Маша с курса Фильштинского.

– Прекрасно, не волнуйся, мы все успеем и сдадим в срок. А сейчас, извини – видишь, Нина пришла.

– До завтра!

Если с Николаем Дручеком нас уже связывала общая работа, а с его женой Катей – семейная дружба, то Сашу и Машу я пока что не знал совсем.

Маша пришла с пьесой, исчирканной вдоль и поперек, Саша пьесу забыл. Я приготовился в сорокаминутном монологе излить все, что накопил за четыре месяца размышлений над пьесой:

– Маша, это трудно принять и может показаться непонятным, но твоя героиня убеждена, что «сегодня» – последний день ее жизни. Что когда Он в белом костюме, такой нарядный, уйдет, дверь закроется навсегда.

– Лёша, это же очевидно! Я подумала: у нее календарик на стене висит и в нем на этот день поставлен крестик, а остальные дни, те, что дальше, оторваны. Ведь пьеса же «Не могу представить, что будет завтра» называется!

– А ты, Саша, что думаешь?

– Думаю, Он и будет жить этим всю пьесу: «Уйти-остаться-уйти-остаться» – и все будет смотреть на этот календарь, мотаясь от двери к ее столу, то снимая, то надевая свой белый предательский пиджак.

Монолога у меня не получилось, с первого же вопроса начался прекрасный творческий диалог, Саша с Машей увлеченно болтали о пьесе, а я только слушал и отбирал: «Так, хорошо, запомните это место, молодцы…» Глубокой ночью мы вышли на Моховую… Расходиться не хотелось.

Я влюбился и с грустной уильямсовской улыбкой смотрел на влюбленную в партнера Машу, на ухватившего нить пьесы Сашу, на нас троих, таких счастливых.

На следующий день репетиция сорвалась, а через день Саша пришел на полчаса раньше, такой торжественный, побритый, благоухая одеколоном; с ним была сияющая каким-то огромным будущим Нина:

– Лёша, прости, мы уезжаем в Москву!

– Надолго?

– Насовсем, Сашу приглашают в Театр Гоголя.

– Не уверен, что это лучшая из перспектив. Интересно, – у меня резко зажгло в груди, – а что я скажу Маше?

– Прости, Лёха, сам понимаешь…

Мы говорили в каптерке, куда был отдельный вход, а в аудитории дверь была открыта, и окна в майский двор театралки настежь – высыхал пол, я помыл его перед репетицией. Нина с Сашей ушли. С легким ощущением ножа под лопаткой я присел на табурет. Открылась дверь из аудитории, вошла Маша, сияющая, счастливая, ну как я скажу ей: «Маша, ты абсолютно вольна решать, продолжать ли работу, потому что Саша…»

– В белом пиджаке!

– Что?

– Алексей, он пришел в белом пиджаке, абсолютно как в пьесе Уильямса. Пришел сказать, что уходит, смешно!

– Маша, ты вольна решать…

– Не говорите ерунды, господин режиссер, я вас не брошу.

В жизни редко бывают счастливые минуты, когда небо сходит на землю.

Это была одна из таких минут.

– Хорошая пьеса начинается там, где заканчивается плохая, – так с порога сказал Иван Владимирович, положил передо мной на стол свернутую в рулон пьесу и спросил: – Сколько здесь событий?

Вчера до глубокой ночи я выпивал с моим соседом, лауреатом Госпремии и заслуженным артистом Петром Семаком, в тупой печали отмечая про себя, что спектакль в срок я не сдам. На пороге Петр Михайлович спросил:

– Почему так грустен, Лёша?

– У меня завал с постановкой, есть актриса, нет партнера, а главное – я уже ничего не понимаю в этой чертовой пьесе.

– Петя, позвони Ване Латышеву, – шумя посудой, крикнула из кухни жена Петра Нонна.

– Зачем, Нонночка, звонить Ване?

– Ты что не понял – у Злобина нет артиста, а Ваня звонил вчера, сказал, что на дачу собирается, значит – сейчас ничем не занят. И к тому же, если Лёшка уже ничего не понимает в пьесе, Ваня ему расскажет.

– Лёша, подожди минутку, – Петр Михайлович уже набирал номер.

Оставив дверь открытой, я вышел на лестницу курить, из квартиры доносился баритон лауреата Госпремии:

– Да – студент, нет – Уильямс, да – за месяц, нет – я серьезно, да – к концу мая, при чем здесь дача, огород и майские праздники? Нет – завтра! Лёша, – кричит Петр, – как пьеса называется?

– Не могу представить, что будет завтра!

– Слышал, Ваня? Да, это название, нет – не читал, да – хорошая!

Петр Михайлович повесил трубку:

– Лёша, завтра в 14.30 Иван будет на проходной ЛГИТМиКа.

– А как я его узнаю?

– Выше тебя на голову…

– Красавец, с огромными карими глазами, – кричит Нонна из кухни.

– Только не опаздывай, Иван Владимирович всегда приходит без пяти и уходит через семь минут, даже если встречу назначил Мейерхольд.

Нонна вышла из кухни, вытирая руки полотенцем:

– Не дрейфь, Злобин! Ванечка добрый и умный, и тоже ученик Кацмана, как Петя и весь Малый Драматический. Если уговоришь его – он не подведет, так что – старайся!

И вот я стою на проходной пять минут, а потом еще семь, рассматриваю высокого мужчину в натянутой до бровей вязаной шапке – он хмур и замкнут, с ним то и дело кто-нибудь здоровается:

– Здравствуй, Ваня, привет Иван, Ванечка, как поживаешь?

Он сдержанно улыбается, уходит от разговора, ему явно неуютно. Ровно в 14.37 он смотрит на часы и идет к выходу.

– Иван Владимирович, я Алексей, вам звонил Петр.

– Пойдемте уже куда-нибудь, надоело здесь стоять–раскланиваться.

«Да, неприветливый товарищ, наверное, пришел с отказом. И Маша задержится на час – репетирует Пятачка в курсовом «Винни Пухе», чем я его развлекать буду?» – думаю я, открывая дверь аудитории.

– Вот пьеса, посмотрите.

Он снял шапку, – темные волосы до плеч, – и уселся на подоконник читать. Пока читал, все поджимал губы и хмурился. Прочел за пятнадцать минут, свернул пьесу в рулон и уставился в окно. Так и прошел час, без единого слова, в аудиторию заглянула Маша.

– Привет!

– Привет! А это – Иван… Владимирович, его нам Петр Семак рекомендовал.

– Я прекрасно знаю Ивана Владимировича – «Золотой софит» за роль Раскольникова в ТЮЗе… Только я думала, мы вдвоем будем, ты не предупредил…

– А вдвоем и будем, – глядя в окно, сказал Иван Владимирович.

Мы с Машей переглянулись.

– Вы, Маша, пока в буфет сходите, выпейте кофе, забудьте, что вы там только что репетировали Пятачка, и через полчасика возвращайтесь, а я пока Алексею пару вопросов задам.

Маша многозначительно кивнула и, закрывая дверь, сунула в щель кулак с торчащим вверх большим пальцем. А Иван Владимирович положил на стол свернутую в рулон пьесу и спросил:

– Сколько здесь событий?

– Пять, – не раздумывая, ответил я, потому что «по школе» в любой пьесе пять событий. Но неожиданная интонация экзамена меня слегка напрягла.

Иван Владимирович бросил на стол пачку «Беломора», достал папиросу и резко дунул в мундштук.

Я тоже достал «Беломор», продул папиросу и закурил.

– Где… первое событие?

– Как где?

– Пальцем в пьесе покажите, где первое событие.

– Вот, пожалуйста, – я раскрыл пьесу: после трех пространных авторских ремарок слышится стук в дверь, Она открывает – Он стоит на пороге в белом костюме. Далее – первые реплики – вот и событие. – Я ткнул пальцем в «Стук в дверь». – Вот.

– Выше, – сказал, затягиваясь папиросой, Иван Владимирович, – первое событие выше, читай внимательно.

Читаю:

– «Заперев дверь и выставив вперед руки, Она сомнамбулически движется к окну»… И что, где событие?

– Бой часов!

– Какой еще бой часов?

– За семь минут до этого…

– Ничего не понимаю, в пьесе нет никаких семи минут и никакого боя часов!

– Есть. Он к ней каждый день приходит в одно и то же время, за пять минут до боя часов на городской башне, и Она слышит, как Он мнется там, на пороге, ожидая назначенного времени, и сразу за боем часов робко стучит, всякий раз боится, что Она не откроет. А сегодня он не постучал, и прошло уже семь минут – всё, Он не пришел, календарь закончился, ниточка жизни порвалась. Остается наглухо закрыть окно, подняться в спальню и принять снотворное – всё.

– Не может быть, подождите, неужели я промахнул?!

– Хорошая пьеса начинается там, где заканчивается плохая.

Я зачем-то схватил пьесу, которую знал наизусть, сел на подоконник и уставился в окно. Полчаса я складывал пазл событий с новым вводным, и выстраивалась совершенно другая, до неба поднятая по градусу история: «Он не пришел – жизнь кончена!» – кричала в отчаянии Ее душа.

От стука в дверь я очнулся, на пороге стояла Маша.

– Маша, это – Иван Владимирович.

– Я знаю.

– Иван Владимирович, а вы не уйдете?

– Пока не собирался, давайте прочитаем пьесу.

И Ваня с Машей сели читать, бегло проходя диалог, останавливаясь на ремарках и размечая повороты событий, будто расставляя фишки на слаломе. За окнами уже стемнело, в аудитории зажгли свет. В майском Питере вечера не бывает, если стемнело – значит, уже ночь. Дочитали.

– Ну что, разойдемся? – спросил я робко, боясь нарушить глубокую тишину после читки.

– Нет, – Иван Владимирович закурил папиросу, – сейчас мы попробуем сыграть всю пьесу.

– Как, ведь не освоен текст, нет мизансцен, нет выгородки, мы же ничего еще не отрепетировали?!

– А вот как поняли, так и сыграем. Маша, вставай в дальний угол, а я встану у двери. И по диагонали, приближаясь друг к другу, попробуем все сыграть.

– Давай, только я с тетрадкой, можно?

– Не надо, Алексей подскажет, если что.

Тетрадка Маше не потребовалась, и Ванина пьеса, свернутая в рулон, осталась лежать на столе. Хрупкая, на голову ниже меня, с сияющими глазами Маша и стройный, волосы до плеч, на голову выше меня Ваня осторожно шли навстречу друг другу, пытаясь продраться через клубок безвыходных обстоятельств, через неразрешимость жизней персонажей, придумывая повод сблизиться и обжигаясь о внезапные обиды, тревоги, страхи. Я перебегал от одного к другому, в упор вглядываясь в их лица, боясь спугнуть эту трепетную напряженную

жизнь каким-нибудь нелепым «правильным» замечанием или подсказкой. Когда посреди аудитории они, уже вплотную друг к другу, изо всех сил сопротивлялись охватившей их близости, Она – обреченная, но полная жизни, и Он – красивый и большой, но абсолютно беспомощный от страха потерять Ее и остаться в одиночестве, я не выдержал, я будто снимал крупным планом их двойной портрет, хотя по всем расчетам уже давно закончилась пленка:

– Ты спишь? Не молчи, скажи что-нибудь, не молчи! – шептал Ваня.

Она плакала от счастья, что Он остался, что он решился быть с ней до конца, Она боялась, что Он услышит в ее голосе слезы:

– Нет, что ты, конечно, не сплю… Просто не могу представить, что будет завтра…

Маша чуть качнулась – не выдержала напряжения? Ваня мгновенно обхватил ее, как птичку, маленькую, трепетную, прижал к себе, и я понял – Уильямс сейчас счастлив, спектакль случился, жаль только, что, кроме нас, его никто не видел.

Мы втроем молча шли к последнему поезду метро, а Иван дальше – пешком на Сенную. Прощаясь, я замялся, не решаясь спросить:

– Иван Владимирович, я еще не знаю вашего решения, но хочу поблагодарить от души. Знаете, я совершенно счастлив, и особенно тому, что эта встреча, эта репетиция… она ведь уже неотменима, она случилась, спасибо огромное.

И я напряженно ждал, что он ответит.

А Маша спросила:

– Ваня, мы завтра встречаемся?

Иван Владимирович держал в руке свернутую в рулон пьесу, он как в подзорную трубу посмотрел на Машу и поддразнил ее:

– Мы? Завтра? Конечно, Пятачок, а как же!

Маша влюбленно смотрела на Ваню, я – на Машу, в Ваниной влюбленности в пьесу я уже не сомневался; три неразделенных любви – прочнее некуда.

«Если на сцене случайно разбивается стакан – ищи ошибку в разборе пьесы», – мы часто повторяли в репетициях этот афоризм Анатолия Васильевича Эфроса и рвались от ступени к ступени, поднимаясь к смыслу пьесы, держась за живую ткань предощущаемого спектакля. Первая репетиция задала серьезную планку, и каждая следующая не должна была ей уступать, тем более что до сдачи их оставались считаные единицы. Уже на второй встрече, за чашкой чая, пока сбрасывался «шлейф улицы», привнесенный ритм других дел и обстоятельств, иначе говоря, пока мы настраивались, Иван Владимирович на клочке бумаги аккуратно нарисовал карандашом эскиз декорации под Малую сцену ЛГИТМиКа. Ночью я вырезал из картона макет с круглым столом под белой скатертью и белыми венскими стульями, с белым окном на левой стене, откуда время от времени врывался шум города, звук внешней жизни. На дальней стене сценической коробки – огромное надкаминное зеркало в мраморном обрамлении. На всех учебных спектаклях, которые я видел, оно было закрыто задником – еще бы, такое огромное окно в другой мир, – не поборешь, не переиграешь. А мы пришли на Малую сцену и открыли его заодно с навсегда остывшим камином и широкой мраморной каминной полкой. К полке слева приставили лестничный марш из пяти белых ступенек, а дальше, от камина вверх по черной стене дорисовали мелом ступени, скрывающиеся в единственной черной кулисе, – это лестница в Ее спальню, откуда, если Она поднимется туда, уже никогда не вернется. Каминная полка стала своеобразной лестничной площадкой с огромным зеркалом, с реальной лестницей от сценического планшета и иллюзорной, обманчивой, меловой, уходящей в никуда. На мраморную полку поставили белый венский стул. Белый костюм героя, белое, с винным пятном на подоле, платьице героини – все новобрачное, но тронутое гибелью одиночества. «Герои мучаются в раю» – так мы определили настроение

пьесы. Кто определил – я, Иван, Маша? Неважно, нас было уже не разъять, мы жили в одном процессе, в одном спектакле, в общей игре.

После репетиций я прибегал домой на короткий ночной сон, с вытаращенными от возбуждения глазами. Мама беспокоилась, не стал ли я наркоманом. Не зря беспокоилась – конечно, стал. Маша параллельно репетировала в двух курсовых спектаклях, ухаживала за бабушкой, платила за съемную квартиру, отсылала деньги родителям в Заполярье и занималась младшей сестрой-инвалидом – девочке поставили аппарат Илизарова, и Маша каждое утро мчалась в больницу с едой, лекарствами, деньгами. Зарабатывала на телевидении – вела два раза в неделю музыкальную передачу для молодежи. Как ее на все хватало, понять вообще невозможно. В одно из утр в больнице Маше стало плохо, врачи обнаружили истощение сил и малокровие. Но ни одна репетиция не сорвалась.

Определившись с выгородкой и мизансценами, выверив событийный каркас будущего спектакля, мы почувствовали острую необходимость в музыке. Брать что «на слуху» категорически не хотелось, на тщательный подбор не было времени, оставалось найти композитора, но кто ж возьмется сочинить и записать музыку для спектакля за три дня? Дмитрий Гусев посмотрел черновой прогон без музыки, пролистал пьесу:

– Ребята, я слышу здесь две темы, одну «внутри», другую «снаружи». Та, что внутри, это когда они умолкают, перестают прикрываться словами, заговаривать пугающую их бездну одиночества. А снаружи – в открытое окно или дверь несется навязчивая легкомысленность мира, соблазн, которому так легко и желанно отдаться, в который так хочется самозабвенно нырнуть, но это будет изменой. Есть и третья тема, ее писать не надо: в конце спектакля, под утро, когда Он открывает дверь, чтобы то ли уйти, то ли просто проветрить дом, дать воздух в это конденсированное неразрешимыми проблемами пространство, звучит третья тема – входит тишина; наконец-то.

– И сколько тебе понадобится времени на первые две?

– Дай подумать… когда следующая репетиция?

– Завтра в три.

– Завтра в три принесу мелодии, если все устроит, послезавтра будут аранжировки.

Я не поверил, хотя и не сомневался в таланте Дмитрия Гусева. Однажды для «горящего» детского спектакля «Вождь краснокожих» он за одну ночь сочинил семнадцать номеров, и довольно ординарный халтурный утренник превратился в заразительный бурлескный мюзикл.

Назавтра Дима принес мелодии. Я так волновался, что не очень мог вслушаться. Иван Владимирович склонился над магнитофоном, будто вращал взглядом катушки с пленкой. Маша тихонько сидела в углу и плакала под все повторяющуюся, но с каждым витком более пронзительную фортепианную тему. Когда же заиграл шутливый вальсок уличной шарманки, Маша встала и закружилась по сцене: от стола к окну, от окна – к огромному зеркалу.

– Маша, заткни ладонями уши и, забивая музыку, кричи: «Нам нужно… постараться… не думать об этом. Это не… помогает… думать об этом, лучше уж… чувствуешь… себя под защитой, даже если… этому чувству нельзя… доверять!» – вскрикивай на каждом повороте вальса, танцуй, сбиваясь с музыки, танцуй под слова!

Маша так и сделала, в руке Димы Гусева дрожала сигарета, а Иван Владимирович сказал:

– Это настоящая музыка, теперь бы сыграть, хотя бы отчасти приблизившись к такому уровню. А не получится – просто дадим музыку и уйдем со сцены.

И он так решительно постарался быть на уровне, что на следующей репетиции стал невероятно серьезен и бесстрашно трагичен – запахло адом, достоевской баней с пауками, русской неразрешимой бедой. Наверное, у Уильямса в этот день был выходной. По счастью,

в зале сидела женщина, ростом еще меньше Маши, изумительный и праздничный художник Наталья Николаевна Клемина. Жизнерадостная, ее музыкой не напугаешь, она сделала массу спектаклей в музыкальных театрах, она пишет волшебные картины, нежно «дружит» с Шагалом, Феллини, Матиссом, Бергманом, Иоселиани и Анри Руссо. Я нарочно позвал ее, чтобы не только избежать огрехов в сценографии, но и, если понадобится, вовремя получить инъекцию от беспросветности. Наталья Николаевна сияла от счастья:

– Какие же вы молодцы, красивая история получается! Только я не пойму, почему мужчина так открыто страдает? Это же «второй план», то, что нужно прятать. Ну и что, что Она смертельно больна и обречена на скорый уход, – это вовсе не значит, что Ему нужно ходить весь спектакль с лицом приговоренного. Это же не Раскольников какой-нибудь, спотыкающийся в рефлексиях «зарубить старушку – каяться на площади»! Нет, они американцы, а у американцев всегда все o'key!, улыбка на лице при любом пожаре в душе. Улыбайтесь, Иван, мы все равно поймем вашу драму, автор хорошо ее написал, и вы замечательно все проработали!

От слов художницы Иван Владимирович позеленел, и по щекам его заходили крупными буграми желваки. Вот теперь он точно пошлет нас куда подальше. Как – Раскольников?! Да ему именно за Раскольникова дали «Золотой софит» – самую престижную питерскую театральную награду – за Раскольникова! Он же не знал, что Наталья Николаевна вообще-то была не в курсе театральных побед Ивана Латышева, она просто так, для примера вспомнила этого Раскольникова, будь он неладен, но попала в «яблочко». Но и топить спектакль в беспросветной тоске всеобъемлющего уныния совершенно не входило в мои планы. И я не знал, как сказать об этом Ивану – опытному, амбициозному:

– Если хочешь со мной спорить, сперва покажи режиссерский диплом, – не раз хмуро шутил Иван Владимирович.

А здесь все честно: профессиональный художник – профессиональному артисту и, более того, женщина – мужчине. Маленькая такая женщина – большому такому мужчине. Прямо как в нашей пьесе. Но ситуация была на грани, я не знал, как уберечь Ваню от ложного чувства, с ним напрямую вообще говорить трудно – срежет в секунду, с ироничной улыбочкой расплющит – сила Иван Владимирович! И конечно, в нашей тройке режиссером я был в меньшей степени, скорее зрителем, к чьему дыханию и лишь иногда к слову прислушивалась самодостаточная и непоколебимая актерско-режиссерская природа Ивана. Его мама – театральный педагог, отец был известным режиссером на телевидении, он сыграл массу главных ролей в театре, учился у лучшего из театральных мастеров, Аркадия Кацмана – что и говорить, школа!

Ивана Владимировича невозможно было убеждать, с ним бесполезно было спорить – в логике и аргументации он был выше меня на три головы, я уже не говорю про Машу, которая как завороженная велась на его подсказки и предложения. Необходимо оговориться – они почти всегда шли на пользу, Ваня расширял и углублял ее роль, делал интересным ее рисунок. Но себя со стороны Ваня видел не всегда. И что делать? Спорить бессмысленно, убеждать смешно; можно было только попробовать перехитрить, обмануть, подсказать что-то не впрямую и «как бы не ему».

Был забавный случай в одном провинциальном театре, где ставил молодой столичный режиссер. На читку собрались артисты и среди них пожилая прима, сыгравшая в этом театре массу главных ролей, – Марья Ивановна. И вот артисты читают пьесу по ролям, режиссер останавливает, делает короткие замечания, доходит дело до Марьи Ивановны. Режиссер что-то говорит, а она будто не слышит, читает себе и все. Сосед-партнер окликает ее: «Марья Ивановна, остановитесь на минуточку, вот у режиссера есть вам предложения». Сказать «замечания» никто бы, ясное дело, не решился. Марья Ивановна подняла от пьесы недоумен-

ный взгляд, посмотрела куда-то мимо столичного режиссера и нежно, нараспев прошептала: «Предложения – мне? – Прима невозмутимо улыбнулась. – А мне не надо».

У Уильямса было одно ну никак не решаемое место. Вернее, для Ивана Владимировича оно было совершенно очевидным и решенным, Маша честно все исполняла, а я вздрагивал: «Вранье – здесь что-то не так!» Но никак не мог точно сформулировать «что же здесь не так», и всякий раз мучился фальшивостью куска. А там Она рассказывает Ему сказку про маленького Человечка, который пришел к дому Госпожи Смерти и внушает Привратнику, что ему позарез как необходимо умереть; Привратник отказывает, и Человечек начинает кричать, и плакать, и сокрушаться. Так вот, Иван Владимирович был уверен, что, рассказывая эту сказку, Она намекает Ему, что собирается уйти из жизни. И получалась какая-то псевдоинтеллектуальная загробная каша с намеком на суицид. Маша это честно играла, Ваня переживал за нее и глубокомысленно кивал, а меня охватывала внезапная скука. На одной из репетиций, прямо в ходе играющейся сцены, я вышел на площадку и стал сосредоточенно что-то искать на полу. Актеры остановились и смотрели на меня:

– Что ты потерял?

– Да вот, Ваня, хочу тебе кое-что дать, чтоб ты, пока Маша говорит, занял руки, крутил одну безделушку, но не могу найти.

– Какую безделушку, Лёша?

– Флакончик, Маша, флакончик со снотворным.

– Так он на каминной полке, его туда Ваня ставит в начале спектакля, ты забыл?

– Забыл, да, дай-ка мне этот флакончик.

Маша дала мне флакончик, я сел на ее место рядом с ничего не понимающим Ваней и, крутя в руках флакончик, начал «как бы ни о чем» говорить:

– Видишь ли, один маленький Человечек очень хотел умереть, он пришел к дому Госпожи Смерти, Привратник послал его куда подальше. «Но я очень хочу умереть, – сказал Человечек, – мне совсем некуда идти, со мной никто не дружит…» «Да пошел ты!» – сказал Привратник. И тогда Человечек заплакал, завизжал в истерике, устроил скандал. Смерть, конечно, это услышала, вышла из дома: «Что за шабаш?!» «Да вот, – говорит Привратник, – приперся здесь, смерти хочет!» «Ну, – говорит Смерть, – если он уж никак не уймется, пусть подыхает». – И я поставил перед ошалело глядящим на меня Иваном Владимировичем флакончик со снотворным:

– На, Ваня, только не кричи и не плачь.

– Браво, Злобин! – захлопала Маша.

– Да, переиграл, гад! – восторженно согласился Ваня.

Сцена состоялась. Ошибка была в том, что героиня пьесы о себе почти не говорит, а занимается только Им, беспокоится за Него, живет Им. И поэтому, конечно, эта сказка о маленьком Человечке – про Него, а не про Нее – вот и все.

Но после слов Натальи Николаевны Клеминой о Раскольникове, когда Ване в лоб саданули «не так играешь», я ожидал катастрофы. К тому же у нас еще не было белых венских стульев, которые мы собирались взять в театре-мастерской у Вениамина Михайловича Фильштинского, Машиного педагога. Мы его не предупредили, что Маша, помимо двух курсовых работ, занята в нашем спектакле. А он всегда очень строго и ревностно подходил к участию своих студентов в «чужих» постановках. Но, по счастью, когда мы начали репетировать Уильямса, Фильштинский уехал на полтора месяца ставить спектакль в Новосибирск, мы хитро рассчитывали выпустить спектакль без него, а потом уже задним числом сообщить. И тут неожиданность – в Новосибирске заболел главный герой, спектакль перенесли на осень, Фильштинский вернулся в Питер…

Это был еще один хороший повод отвлечь Ивана Владимировича от раскольниковского топора.

– Иван, спасай! Меня Фильштинский знать не знает, более того, в прошлом году чуть не влепил мне «пару», так как не видел на экзамене моего отрывка. А тебя он знает и ценит, к тому же нам позарез нужны его белые венские стулья, поедем к нему, а?!

Ваня был хмур и оскорблен, но во внутренний карман его пиджака, я уверен, был вшит «кодекс чести самурая». А настоящий самурай никогда не бросит в беде Машу и даже Лёшу, как бы тот ни был ему противен.

Мы поехали на Крюков канал в театр к Вениамину Михайловичу.

– К тому же, – сказал я Ване по дороге, – у меня завтра день рождения. И я хотел бы позвать нашего мастера и нескольких друзей-артистов на черновой прогон.

– Ты совсем спятил!

Но я не услышал этих слов – в открытое окно машины шумно задувал ветер.

– Маша, а ты придешь завтра ко мне на день рождения играть черновой прогон?

– Конечно, Злобин, приду, куда ж я денусь!

– А ты, Ваня?

– Вот сволочи!

Машина пересекла Крюков канал и остановилась у театра.

Я попросил приятеля отвезти на Крюков канал белые венские стулья. Спектакль сыгран, единственный раз, как и полагается учебному преддипломному спектаклю. Режиссерская кафедра долго дискутировала, какую поставить оценку: Фильштинский требовал «отлично», но мастер курса настоял на «хорошо» – он не считал, что спектакль был полностью готов, что еще на черновом прогоне 25 мая он настоятельно рекомендовал доработать и показать осенью и что будет совершенно «непедагогично» ставить «отлично». Кафедра, уважая мастера, согласилась с его оценкой.

Но все это было не важно, и с оценкой мастера я был согласен, хотя и удивлен несколько его храбрости – восстал против кафедры, требуя своему студенту понизить балл. Неважно. А что важно?

«Сейчас я пытаюсь снова писать, а энергии на творчество и на секс уже не хватает. Вижу, что вы не верите. Обслуга в отеле „Елисей“ считает меня сумасшедшим, но я и впрямь начинаю сходить с ума ближе к ночи. Не могу оставаться один, потому что, оставшись один, боюсь умереть. Но пока всегда кто-то есть, хотя бы для того, чтобы дать мне снотворное». Так сказал Теннеси Уильямс в одном из своих интервью. И он оказался провидцем: вскоре в этом отеле его нашли мертвым: ему в горло попала пробка от пузырька со снотворным, и писатель задохнулся.

За последним зрителем вошел Иван Латышев, высокий, волосы до плеч, в белом костюме, с початой бутылкой виски – вызывающе красивый. Он запер дверь зала на ключ – не слишком ли вызывающе самонадеянно, а вдруг во время спектакля кто-то захочет уйти? Ничего, посидят час, потерпят, дослушают и досмотрят до конца. Иван вышел на сцену и стал что-то искать: вот, маленький флакончик со снотворным. Он сел на стул, отхлебнул из горлышка виски и с вызывающей улыбкой сказал эти слова про творчество и про секс. По залу раздались смешки: «Да неужто такой красавец и – проблемы с сексом?» Иван ожидал этой реакции, отхлебнул еще, поставил бутылку на пол и, вертя в руках пузырек, пояснил, что это не его слова и что тот, кто их сказал, действительно плохо кончил. Затем он прошел к краю сцены и уселся на планшет в углу. Следивший за ним фонарь-пушка погас. Послышался бой часов, из-под круглого со скатертью до пола стола показалась рука, вторая; руки ухватились за столешницу, и с каким-то последним усилием из-за стола поднялась маленькая женщина в белом платье с винным пятном на подоле. Бой часов смолк, она неподвижно смотрела в сторону окна и воображаемой двери, потом медленно пошла и закрыла ставни, потом воображаемую дверь. Она ссутулилась, оперлась о стену, спрятав лицо в локтевом

сгибе, – уснула, умерла? Чуть шатнулась, вот-вот упадет! И в этот момент Ваня в углу начал неистово колотить кулаком в планшет сцены: на него упал свет, он вскочил, Она обернулась и, сияя счастьем, бодрая и легкая вся вспыхнула в приветствии:

– А, это ты!

– Да, это я…

И в комнату влетел беззаботный французский вальсок – за окном дурачилась и шутила шарманка-жизнь.

Забить зал малой сцены ЛГИТМиКа несложно, свободных мест не было, и в проходах сидели, я с трудом пристроился на ступеньке у звуковой рубки. Но многих не было, и кого-то, кого я очень ждал. 31 мая, последний день весны 1996 года. Собирались прийти и Петр Семак с женой Нонной, и многие другие замечательные артисты Малого Драматического – друзья Ивана Латышева. Не случилось – накануне внезапно ушел из жизни их товарищ, ровесник, коллега, близкий друг Ивана – Николай Павлов. Так что не довелось показать нашу работу тем, чьими ролями я всегда восхищался. Еще, конечно, было бы здорово, чтобы спектакль увидел мой отец, но он уже полтора года не выходит из дома – болеет. И еще очень хотелось, чтобы его посмотрел Фоменко, ведь Петр Наумович как раз приехал в Питер с «Пиковой дамой», и мы играем днем, он мог бы успеть до вечернего спектакля. Но он тоже не пришел.

И слава богу, потому что за только что описанной сценой начался полный завал! Маша и Ваня вдруг «окаменели» – зажим, волнение, «сырость» спектакля, о которой предупреждал меня наш мастер? Не знаю, всё вместе. И я мучительно наблюдал свой дурацкий режиссерский рисунок, все эти переходы и мизансцены, отовсюду торчали «белые нитки» замысла, не самого, надо сказать, выдающегося. Если бы не трагический фон жизни, в котором приходилось давать представление, я бы, наверное, лопнул всеми лампочками, как елочная гирлянда, которую вместо розетки ткнули в узловой генератор Днепрогэс. Но в реальных обстоятельствах большого круга мириться с катастрофами малого – легче. Я, незаметно седея и покрываясь испариной, спокойно наблюдал, как медленно и верно наш «Титаник» движется к айсбергу. И айсберг нас спас!

Она думала, что Он пришел, чтобы остаться с ней до конца. Поэтому – белый костюм, как в их первую встречу. А Он пришел попрощаться и уйти навсегда – поэтому белый костюм, и пакет с сэндвичами, и бутылка вина. Она не хочет такого «праздника», но и не решается выгнать его, поэтому просит весь этот «прощальный пир» совершить в одиночестве на кухне, ссылаясь на то, что от одного вида еды ее тошнит – болезнь. Но Он настойчиво считает «пир так пир» и уходит в кухню разложить на поднос сэндвичи и разлить по бокалам вино. А Она тем временем на фоне огромного зеркала вразрез мучительной музыке произносит монолог: «Страна дракона, страна боли, страна, где жить нельзя и где всё же живут. У каждого своя отдельная тропа, по которой он идет в одиночестве. А если жители Драконовой страны посмотрели бы вокруг, они увидели бы других таких же, но каждый настолько оглушен и ослеплен своим собственным маршрутом, что он не ищет никого и не видит других. Я не пойду. Не хочу туда, где больше нет выбора». И тут входит Он со своим «праздничным ужином» – вино в бокалах, сэндвичи, улыбка «все о’key!».

Если на сцене случайно разбивается стакан – ищи ошибку в разборе пьесы. Для этой сцены я принес из дома семейные новогодние фужеры красного стекла в белый горошек – их папа с мамой купили когда-то в Чехии.

Окаменевшая Маша гонит окаменевшего Ваню в кухню, в полном окаменении булыжит свой камнедробительный монолог, из кухни выходит каменный Ваня с подносом и на ровном месте спотыкается! Он балансирует, стараясь удержать проклятый поднос, а на сцену летит семейный фужер с вином и, как французская небьющаяся кружка о кафельный угол, вдребезги кокается о мягкий половик планшета. Секунда задумчивости: Маша весь

спектакль играет босиком, при этом звучит музыка Димы Гусева и вся сцена точно построена по тактам музыки – это балет! И если сейчас начать собирать осколки, музыка кончится, сцена не сыграна, а Маша все равно изранит ноги! Секунда – живее некуда! Короткая, и зал замер, проснулся в недоумении – что же дальше будет?! Иван Владимирович, как ни в чем не бывало, легкой походкой танцует в кухню, выпархивает с ведром, совком и веником (их уборщица забыла за кулисами!), тут же сметает все осколки, в ускоренном темпе уносит ведро, возвращается и доигрывает сцену.

Спасибо Эфросу, мы часто шутили его афоризмом. Дальше спектакль еще не раз был оживлен спасительными накладками, но никто из актеров уже не был зажат ответственностью перед режиссерским рисунком и принципиальными договоренностями «на берегу»: ребята жили, как давалось, каждую минуту радостно ожидая новых подсказок грустного ироничного Автора – Уильямс ликовал! Особенно когда у Маши, втайне от Вани вливающей себе снотворное в вино, вдруг весь пузырек плюхнул в стакан, и Ваня ну просто никак не мог этого не заметить – и сцена пошла обнаженно, с откровенным вызовом, а в стакане бултыхался этот чертов пузырек, с которого слетела пробка.

Мне самому было интересно, чем же кончится такой неожиданный для меня, для Вани и Маши спектакль. А кончился он вот чем: Она качнулась, почти готовая упасть, но Он подхватил Ее и понес по лестнице:

– Остановись здесь, я посижу немного, надо передохнуть.

Она сидела перед огромным, как окно в другой мир, зеркалом, а Он спустился вниз, сел на пол у стола и тихо, испуганно спросил:

– Ты не спишь, не спишь еще?..

Через паузу, скрывая слезы счастья, Она ответила:

– Не могу представить, что будет завтра!

Он встал, подошел к двери и распахнул ее в ночь, в мир, откуда всякий раз врывалась в их дом эта дурацкая шарманка. Но шарманки не было, в дом вошла тишина, свободная, прекрасная, как глубокий вздох, тишина – наконец-то! И тогда на городской башне забили часы – шесть ударов. Оказывается, прошел всего час. И снова тишина. И слышно было, как в зале кто-то всхлипывает, и кто-то еще, и еще…

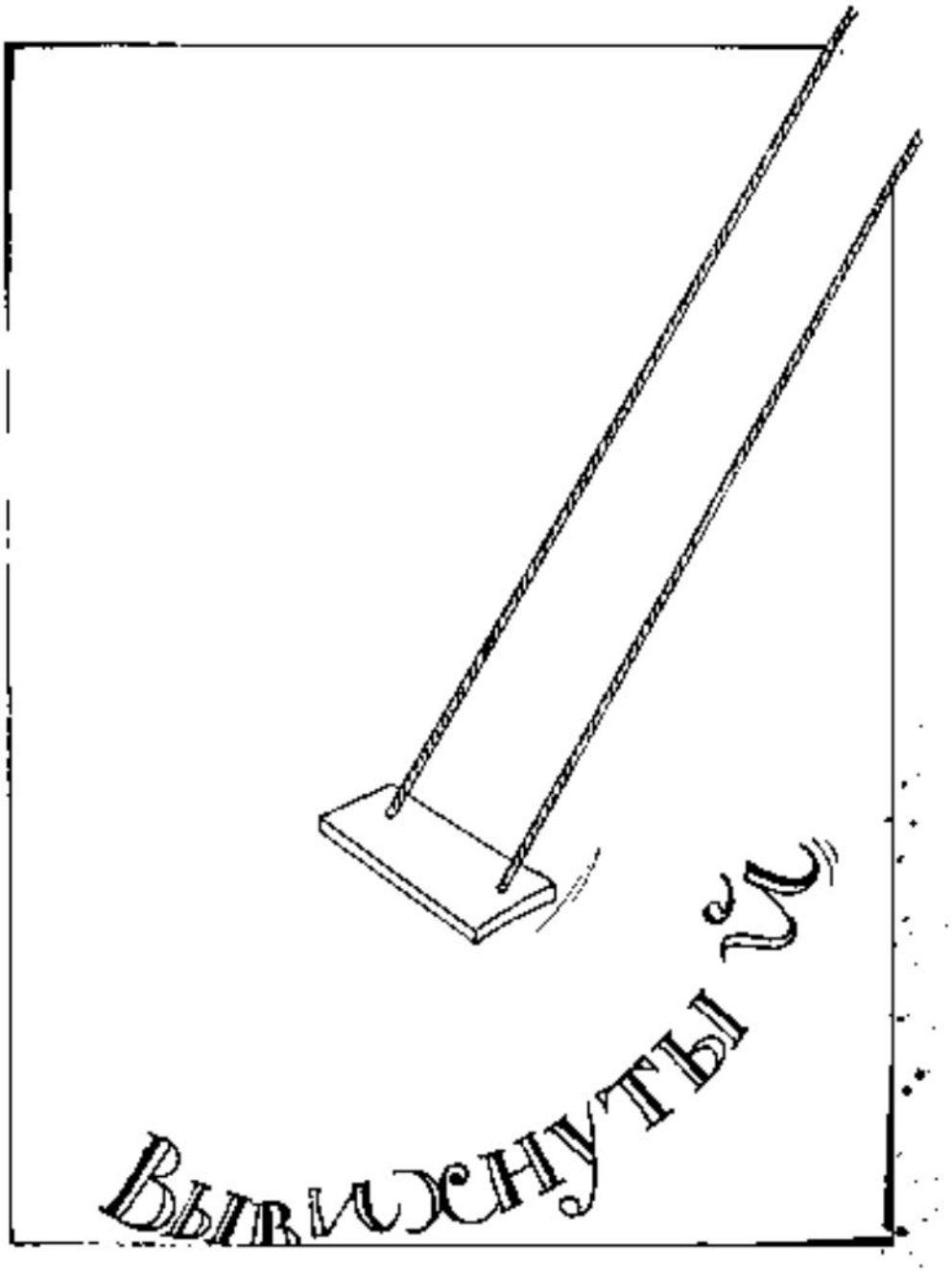
Мы пили коньяк, бродили по окунувшимся в белую ночь питерским набережным, под утро пришли к Ивану Владимировичу и еще, и еще, и еще выпили за премьеру. Ваня уложил Машу в кровать своей дочери, меня – на свою кровать, а сам ушел в кухню. Вскоре я проснулся, хотелось пить. В кухне на расстеленной на полу куртке, по-детски подтянув к животу ноги, рассыпав по кафелю темные волосы, спал Иван Владимирович – настоящий рыцарь, уступил даме и гостю ложе для ночлега. Я посмотрел на часы – прошел всего час.

И тогда я понял, что непоправимо изменился.

И слышно было, как в зале кто-то всхлипывает, и кто-то еще, и еще…

У меня был ключ, я отпер дверь и вышел на мраморную лестницу ЛГИТМиКа. Тишина за спиной взорвалась аплодисментами.

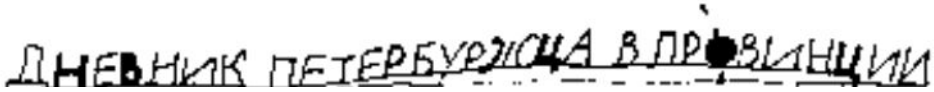
Вывихнутый



Дневник петербуржца в провинции

Могут раздавить, притом без всякой злости – просто так.
Анатолий Эфрос. Профессия: режиссер





Лето казалось предсмертьем, казалось, что ничего за ним нет и что все обрывается как-то неожиданно и нелепо. Год високосный – чему удивляться. Ничего не хотелось делать после выпуска преддипломного спектакля, неудачного романа, разлада в семье, череды потерь, усталости. Работы нет, денег нет, настроение – откуда взяться настроению? Но тем не менее нужно ставить дипломный спектакль. Позвонил ученику отца – автору телепередачи «Театральная провинция»: «Лёша, звони Худруку в Энск. Он всем обязан твоему отцу, думаю – верный вариант».

– Здравствуйте, я сын Евгения Павловича Злобина. Заканчиваю режиссерский и должен ставить диплом…

– Очень приятно, прилетайте!

В Энском аэропорту меня встречали с табличкой «ЕВГЕНЬЕВИЧ ЗЛОБИН».

27 августа 1996 г.

Главная улица Энска берет начало у многолюдной площади с цирком и рынком и завершается, минуя театр, консерваторией и храмом Утоли Моя Печали, в городском парке Липки. В некотором смысле знаменательное развитие. Петербург никогда не предъявит подобного контраста. Все в нем отражает, но не опровергает, настаивает, но не противоречит, повелевает, но не кричит. Его Невский лежит от Дворцовой площади до Лавры с некрополем великих людей, от ангела на Александровской колонне до множества ангелов, венчающих высокие надгробия.

Петербург – замысел, идея, иллюзия порядка. Реальная же амплитуда моего разудалого отечества как раз от храма до цирка, от консерватории до базара, на который издали смотрит изваянный в камне Чернышевский.

За оградой парка, стыдливо прикрытый елочками и кипарисами, на крашеном зеленом пьедестале непонятно из чего вылепленный, весь скуксившийся и обтруханный Максим Горький. Как бы извиняясь за незаметность, на постаменте мелкими буквами выведено: «Человек – это звучит гордо». Его обходят, не замечая, и не помнят со всеми его семьюдеся-

тью томами Полного собрания сочинений. Чернышевскому шпагу над башкой сломали и в кандалах отогнали подале, однако он не угомонился, написал в каземате роман «Что делать». Его б в душевное отправить, на валерьяночку да на ромашку, но цензура была немилосердная. И вот стоит гордо, заслонив собой Максима Горького, глупо так стоит, я бы при всех так стоять постеснялся, особенно при девушках. (Красивы, надо сказать, энские девушки, но об этом позже.) Нет, не могу смотреть ни на того ни на другого. И Максимы у нас Горькие, и Демьяны Бедные, и Саши Черные, куда ни посмотришь – везде так.

Для дипломного спектакля я выбрал киносценарий. В библиотеке отца на книжной полке между «Бергманом о Бергмане» и его же «Латерной магикой» приютился карманного формата сборник сценариев. Он назывался несколько мрачно «Осенняя соната», но в оглавлении среди прочих мелькнули «Улыбки летней ночи» – легкая праздничная комедия о театре, любви и волшебстве. Прочитав ее на одном дыхании, я сел за режиссерскую экспликацию.

«В то лето жизнь перестала улыбаться адвокату Эгерману, его мучило открытие: все, что увлекало и радовало прежде, оказалось банальностью. Рано или поздно приходит это чувство. Как правило, поздно. Эгерман остро ощутил одиночество. Временами накатывало сомнение: „…а существует ли он на самом деле? А что, если перечеркнуть прошлое, влюбиться?!“» На мгновение стало легче. Улыбка ночи – это передышка, короткое утешение беднягам, утонувшим в банальности, пошлости, скуке и самообмане.

Одиноки все. Но кто-то при этом счастлив, а кто-то – нет.

Или так. Несчастны все. Но кто-то при этом одинок, кто-то – нет.

Хуже: все одиноки, все несчастливы… Но кто-то об этом не знает».

Отец прочел и сказал: «Литература», – оказывается, это слово может быть обидным.

Потом в течение месяца мы «выезжали» во двор и работали: отец в кресле-коляске, я на детской качели. Рядом крутился наш пес Бегги-бассет, названный так в честь герцога Беггота из шекспировской хроники «Ричард II» – последнего отцовского спектакля.

– Ты хотел свободы, теперь насладишься ею в полной мере!

Перед отъездом повздорили. Отец сомневается в моих способностях к режиссуре. Я, надо сказать, тоже. Но за его родственной ревностью к профессии, цеху, призванию услышалась другая, все определяющая причина.

Он два года не отходит дальше скамьи у подъезда, никто не приезжает навестить, телефон молчит, а тут я лечу к его ученику ставить спектакль.

У подъезда оглядываюсь – отец машет в окно, и мама кричит вслед: «Ни пуха!»

Сломался автобус к аэропорту, пришлось добираться на перекладных; самолет садился в тревожной тряске, думал – рухнем; по летному полю шли пешком, стюардесса покрикивала: «Поплотнее, товарищи, поплотнее». Машина от аэропорта до театра долго не заводилась.

– Худрук ждет, кушайте на здоровье!

Театральный буфет, сижу один. Оттого что «Худрук ждет», кусок в горло не лезет. Буфетчица в игривом сарафанчике сообщает: «Вчера проводили московскую драматургессу Штопкину, та отдыхала у Худрука на даче, неделю киряла, три дня вздыхала и уехала, пообещав прислать пьесу. Премьер, ведущий актер театра, пережив за отпуск три запоя, пошел на четвертый, в результате сезон откладывается на неопределенный срок – как же, на нем весь репертуар. Чахоткина, артистка, после репетиций Чехова подхватила туберкулез и отбыла в санаторий в Ялту. Юная героиня Норкина тайно укатила в Москву. Водитель Вася, сэко-

номив на дармовом бензине, купил „Волгу“, такую же как у Худрука, и прячет ее в гараже цирка…» Выслушав сводку буфетчицы, дожевывая отбивную, бегу к Худруку.

Худрук встречает деловито и кратко, берет у меня инсценировку, бледнеет от количества действующих лиц и сразу предлагает взамен пьесу Штопкиной, которую ждут со дня на день, по повести, которой никто не читал. Потом приглашает на вечернюю репетицию и посылает пить кофе к Секретарше.

– Вообще-то, я Люда, но для вас Людмила Михайловна.

– А я Алексей Евгеньевич, но для вас Лёша.

На репетиции вводят нового героя в спектакль «Мертвая обезьяна» – за год это уже четвертый ввод, трое прежних покинули Энск и, кажется, сменили профессию.

Пьеса патологична, но репетирует Худрук интересно, хотя во многом непонятно.

Вечером привезли в гостиницу. По радио передача о Раневской, по телику – «Весна», на сон грядущий читаю Эфроса – опять о Раневской.

Попросил коридорную согреть воды для чая. Плитка чудесная – за полтора часа вода нагрелась до комнатной температуры. Сбегал в магазин за минералкой. Худрук обещал подыскать квартиру – хорошо бы.

Утром встречаемся с Митей, актером-однокашником, он, оказывается, местный. Рвется к Худруку в театр.

Утренняя репетиция прошла тяжело по двум причинам: а) пьеса ужасна; б) новый герой отравился и не пришел.

В перерыве едим с Худруком чебуреки. Бергмана он прочитал и хочет ставить сам.

– Я так боюсь начинать громоздкого «Короля Лира», а прочитав твою инсценировку, почувствовал – это мое.

– А мне казалось – мое.

– Поверь, эта тема мне ближе: «В конце концов человек смиряется с естественным ходом вещей, а бурлеж и страсти остаются в прошлом».

– Да, пожалуй, такая тема ближе вам. Я про другое хочу ставить: «Не упусти шанс, улыбка жизни мгновенна».

– Уступи, а? Я тебя на год приглашаю в театр: на Бергмане будешь помощником, потом поставишь все, что захочешь. Тебе что, только диплом нужен? Я же сразу предлагаю работу!

– А что я буду ставить – громоздкого «Короля Лира»?

– Нет, зачем, «Лир» – это мое! А вот, почитай, повесть Штопкиной «Дьявол», на днях будет пьеса.

Репертуар Энского театра немного смущает: «Мертвая обезьяна», «Крематор», «Морок», «Мертвые души», «Тойбеле и ее демон», «Вий» (это для детей), в работе «Неугомонный дух», в планах «Дьявол». Надеюсь, «Улыбки летней ночи» как-то разбавят этот мрак. Только кто их будет ставить?

Вечерняя репетиция уже немного втянула в работу. Осваиваюсь, стал что-то вякать Худруку.

– Лёша, во время прогона скажешь, где что надо прояснить.

Доверяет, это приятно.

Только ума не приложу, что можно прояснить в «Мертвой обезьяне»?

Вечером Митя привез мешок яблок.

Умер Владимир Эренберг.

В кабинете Худрук и Премьер. Курят.

– Он был моим учителем. У нас в одно время родились дети. У меня дочь, у него сын. Вместе бегали за пеленками. Ему тогда было шестьдесят пять. Только что снялся в «Гамлете».

– Кого играл?

– Как кого? Горацио. Смешно, конечно, Смоктуновский – такой молодой Гамлет, а Горацио, однокашник, – такой старый. Он умер в своем поместье, в Тверской области.

– То есть на даче?

– Да, но прежде это было фамильное поместье. Я там бывал. Аллеи, усадьба, сосна, на которой сохранились зарубки топором – это Эренберг, Мравинский и Мейерхольд мерились ростом. Там и умер. Его во всех фильмах брали на роли белогвардейцев – порода, ничего не скажешь. Приходил со съемок и жаловался: «Ох, опять меня пролетарии по морде били за двадцать рублей».

Ищем квартиру! Митя принес телефоны агентств, я начал поиски:

– Алло, мне, пожалуйста, однокомнатную в районе театра.

– На улице Дачная вас устроит?

– А где это?

– Ну, магазин «Волжанин».

– Минуточку, не вешайте трубку.

Бегу к Секретарше.

– Людмила, где у вас улица Дачная?

– Их несколько.

– Магазин «Волжанин».

– Их тоже несколько.

– Люда, можно в Питер позвонить?

– Вообще-то, для вас я Людмила Михайловна, звоните.

– Алло, папа?

– Привет, ну как?

– Худрук предложил мне работу на год: поначалу ассистентом на Бергмане, потом что угодно буду ставить сам.

– Ты уже согласился?

– Да.

– Напрасно.

Квартиру нашли, завтра можно въезжать.

– Там, – говорит администратор, – что-то со сливным бачком, но после репетиции мы с ребятами починим.

С ума сойти!

Только что расстались с Митей. Худрук его огорошил: «Нам нужен мальчик на „Смерть в Венеции“. Это – надолго. Если мечтаете о Москве или Петербурге – отказывайтесь».

«Мальчик – надолго». Митя пошел думать.

Обедаем с Худруком, предлагаю позвать из Питера композитора Дмитрия Гусева, он мне писал музыку для Уильямса.

– Лёша, Питер Штайн говорил, что музыка в спектакле верный признак слабости режиссера.

– А вы его «Орестею» видели?

– Да, он замечательно доказал, что и без музыки можно сделать плохой спектакль. Мне, видимо, сейчас придется на месяц уехать в Киев, на постановку.

– А как же Бергман?

– Если не успеем сделать разбор, поедешь со мной, все обсудим. Кстати, Штопкина уже прислала пьесу.

– Кстати, уже прочитал.

– И?

– По-моему, галиматья.

– Ищи другую.

Катастрофа – я буду репетировать свою инсценировку в чужом решении без совместного входа в материал!

Митя приволок сумку помидоров. Худрук берет его в Бергмана на роль Хенрика.

Когда распределяли роли, пришел пьяный Премьер: «Я, конечно, доверяю Худруку и его выбору, но все-таки, Лёшка, ты очень молод». Премьер назначен на главную роль.

По дороге в театр прохожу мимо школы. Мальчики и девочки толкутся у входа, волнуются, переживают, ждут. Несколько ребят метут вениками дорожки – пылища. Во дворе в Питере, где квартира жены и сына, тоже школа. Через два дня, будь я там, проснулся бы от музыки и громкоговорителей. Цветы, дети, родители – тревожная радость начала учебного года.

Худрук определил действие «Улыбок…» как «преодолеть банальность бытия». Герои, мол, все время попадают в банальные ситуации и, всячески стараясь их преодолеть, выглядеть не банально, попадают в еще более банальные ловушки.

Сообщив это и распределив роли, он уехал на месяц в Киев.

Я в глубокой задумчивости – что это за банальность такая? И как ее строить? Это же – «литература», а не решение! Мыслит он парадоксально, совершенно вразрез с пьесой. А у меня сейчас, как это ни банально, крик души: «Хочу в Питер, пройтись по коридорам института, съездить с сыном в Пушкин, Павловск, выпить сто пятьдесят с друзьями» – ну не банально ли? Надо стараться вести себя вопреки: приходить в театр, с утра до вечера как будто репетировать, убеждать себя в важности пребывания здесь, делать вид, держать лицо, но… не банально ли?

Митя не пришел ко мне на новоселье. Припасенную банку тихоокеанской сельди я слопал в одиночестве, запивая коктейлем водка+водка. Оглядываю логово, рекламные данные самые положительные: пятнадцать минут от театра, пять до вокзала, окна во двор. Нет письменного стола, поэтому пишу на кухне, как всегда писал в доме жены. Жены тоже нет.

Все чужое, приходится обживать: новые звуки, предметы – сплошное сопротивление психике. Жизнь холодильника, жизнь водопровода, шуршание и дрожание стен, книги на полке самые случайные. Телефонная розетка есть, но аппарата нет. В шкафу фотоальбом. Здесь жил и умер другой, незнакомый мне человек. Возможно, я хожу в его тапочках.

Завоевывать позиции в театре предстоит не в борьбе с обструкциями, презрением и прочим, а с элементарным «не будем делать» – Худрук уехал, нефиг мозги заправлять.

Утром встречаю Премьера. Он внимательно и щепетильно уточняет мое отчество:

– Как, бишь, вас, Алексей…

– Евгеньевич.

– Алексей Евгеньевич, а почему вы не бреетесь?

– А почему бы вам не бросить пить в жертву искусству?

– Если вам доверяет Худрук, то я, конечно, повинуюсь. Артист – говно, когда с первой репетиции сидит с кислой миной, кстати… Алексей Евгеньевич, не хотите ли остограммиться?

– С утра не пью.

Интересно, кто из нас банальнее, он – с предложением или я – с отказом?

Пошел узнать, когда выплатят суточные. За дверью гомон, миляга Директор травит байки. Стучу, выскакивает Администратор.

– Наталья Владимировна, позовите Бухгалтера!

Вышла Бухгалтер, дохнула перегаром, пообещала завтра все выплатить и исчезла.

Кот из дома, мыши в пляс.

Зову Помрежа:

– Пожалуйста, принесите список артистов с именами и отчествами.

– Ой, если успею, принесу.

– Успейте и немедленно!

Приносит список.

– Спасибо. Еще просьба – дайте стенограмму установочной репетиции Худрука.

– Нет, только завтра, мне афиши делать надо.

– А мне – пьесу разбирать.

– Завтра.

И уходит. В слегка подстреленном виде иду к Секретарше.

– Людмила Михайловна, можно попросить чашечку кофе?

Секретарша глядит на меня глазами влюбленной газели и бормочет:

– Кофе только Худруку. Купите, я буду вам варить.

Идем с Митей покупать кофе, заодно мороженого себе взяли… и Секретарше.

И полдня загорали, купались в Волге. Вода грязная, цветет, но – блаженство, как ни банально.

Дурная ночь. Зуд всего тела из-за купания в Матушке-Волге, а также несвоевременный и неугомонный прилив сил в результате того же купания. Отрыгается пиво с воблой. Я пил на здешнем Бродвее под светящейся рекламой уличного шалмана, складывал ошметки воблы в газету «Вечерний Энск». Мимо взрывной волной проносились дивные девичьи бедра и прочее, я волновался и тосковал, как Хенрик у Бергмана: «Лиши меня моей добродетели, я тоже хочу грешить!» Уже подмывало поискать в Волге Стенькину персидскую княжну или Катерину из «Грозы». Но ту, сколько я помню, выволокли на берег для завершения пятого акта трагедии.

Лезут кошмарные мысли о пьесе, никак не поддающейся анализу.

Прочие раздражители сменяются спорадически.

Жужжание невесть откуда взявшихся Мух, плодятся они, что ли, у меня под подушкой? Гадские Мухи, видимо, не знают, что в темноте нормальные мухи не жужжат, а сидят на потолке. Неугомонные – лезут в уши, в ноздри, щекочут пятки, дырявят натужные мозги.

Когда стихают Мухи, а они почему-то вдруг стихают, появляется маленький, едрена мать, Комарик и заискивающе по-вурдалачьи попискивает то в левое, то в правое ухо, то разом в оба – стереокомарик. Он даже как-то смиряет душу своей единственностью, досадным и нелепым одиночеством. Я убиваю его с сожалением, с последним писком он рушится на подушку справа.

И тогда, сотрясая стены, возмущенный беспрецедентным убиением комара, грохочет с улицы Грузовик. Этот ад нарастает и множится, соответствуя закону симфонического расширения звука. В первой части – один затхлый грузовичок, после – два, потом три, к утру дом трясется беспрерывно, образуя вязкое крещендо.

В редкие такты пауз, эхом дальнего паровозного гудка, напоминая о бренности всего земного, как будто мирно, но неотвязно вдруг тикают Часы. Поначалу успокаиваешься: тик-так-тик-так-тик-так… Но вдруг обдает ужасом: о чем это «тик-так-тик-так»? О чем, о чем – долго еще, вот о чем, ночь эта никогда не кончится, она навсегда.

С кухни разражается пердящим утробным кашлем Холодильник.

Вновь вступают Мухи, вспухает, как феникс из пепла, Комар, и трясет дом…

Ночь Хомы Брута у трупа Панночки – мечта Худрука.

Звонил домой. Мама сказала, что Женя в садик идет, что у него подозрительно большая голова и что он ничего не говорит.

– Зато он большой!

– Нашел чему радоваться.

И я понял, что беспокоюсь. Виноват он, что голова большая и что почти ничего не говорит? А его в сад отдают. Я помню интернат, как было плохо, тоскливо по ночам, когда фонарь обливал бесприютной желтью потолок и до утра бесконечно долго.

Женя, прости, что у нас с мамой твоей все так-никак, что редко видимся, что, уезжая, не попрощался. Ты там не реви и давай говори много-много, чтобы никто не пугал меня и не обижал тебя. Папа твой, знаешь, какой болтун? О, несносный болтун. Я здесь больше молчу, а ты давай говори.

– Еще звонили ребята из «Юнги», звали на встречу выпускников, огорчились, что не сможешь.

– Спасибо, мама, как отец?

– Все так же.

Сопли градом, слезы водопадом.

Какая же все шелуха, а время уходит, уходит.

Пишу на кухне, выключив в комнате свет. Пусть комары и мухи летят сюда, я их запру.

Митя подарил нетикающий будильник. Возможно, он еще и будит.

С отъездом Худрука театр превратился в дом инвалидов сцены.

Первым номером, конечно, – Премьер. Труппа с тревогой следит за его изнурительной борьбой с алкоголизмом. Происходит она в ближайшем шалмане между репетициями, а иногда и вместо. Ему предстоит длительное лечение ног. И я должен вникать, осознавать, уважать эти хвори.

Пришла покачивающаяся Чахоткина. Ее буквально под руки ввела завтруппой.

– Здравствуйте, Алексей Евгеньевич, я сяду!

– Здравствуйте, Наталья…

– Игоревна.

– Разве Игоревна?

– Если угодно – Ингольфовна, но – язык сломаете. Поговорим начистоту и конфиденциально.

Я высылаю Митю варить кофе, кладу на стол пачку «Мальборо».

– У меня, Алексей Евгеньевич, бронхиальная астма в тяжелой стадии. Когда умирала мать, ей все лицо раздуло, она не ходила и почти не могла дышать. Мне бы не хотелось, чтобы все закончилось так рано.

– Простите, а ваша мать умерла от бронхиальной астмы?

– Нет, не от бронхиальной астмы, – но какое это имеет значение?

– Да, в сущности, никакого. Соболезную.

Она сидит, не обращая внимания на юбку, задравшуюся выше колен, руки, и голова, и все тело ее дрожит, она судорожно затягивается сигаретой, кашляет, с присвистом вдыхает и дрожащим ртом отхлебывает кофе.

– Шурик… то есть Худрук, знает. Но у нас такие неровные отношения, и он, конечно, будет ругаться и не поверит в мою болезнь.

– Что же вы собираетесь делать?

– Мне предложили дорогостоящее лечение в Москве. Это должно отнять четыре месяца. Вы не представляете, как рассердится Шурик, то есть Худрук. Я думаю написать заявление.

– Но вы же играете чуть ли не во всех спектаклях?

– Что делать, что делать. Может быть, мой врач откажется меня лечить, тогда я, конечно, вернусь.

– Ну зачем же так мрачно.

– Что вы, я вполне трезво оцениваю свое положение. Разрешите еще сигаретку?

– Пожалуйста. И что же вы хотите от меня?

– Не говорите пока ничего Шурику, Худруку. Я сама ему позвоню, когда все выяснится. Всего вам доброго.

Дрожащей тенью она растворилась в темном коридоре. Пьесу даже не взяла.

Арина Хрипунова от кофе отказалась, курить не стала, старалась улыбаться, но ничего не говорила – пропал голос и ужасно болит горло.

– Вы представляете, – хрипит она, – я даже не могу орать на семью. Я ору шепотом, а они смеются.

– Ну вы уж полечитесь.

– Конечно, главное – роль мне нравится.

Народная артистка Федотова бодро позвонила и сказала, что не придет – прострел в пояснице.

Ну что ж, посмотрим, как они будут репетировать. Надо пустить слух, что со дня на день может вернуться хозяин.

Сутками сижу в театре. Вахтер ворчит, что спать не даю. А куда я пойду?

Смотрели с Митей и Премьером «Персону» Бергмана. Фильм закончился поздно, расходиться не хотелось. Добыли водки, посидели мирно и весело, разошлись под утро. Потом Вахтер настучал, что я в кабинет Худрука вожу девиц!

Зашла Секретарша, принесла кофе:

– Вы, Алексей Евгеньевич, похудели и как будто не отдыхаете совсем…

В Киев за Худруком послали машину. Выехали в ночь. По пути останавливаемся на берегу небольшого озера; откинув сиденье, гляжу на звезды. Ни облачка и полная луна. Позади – дождящий месяц репетиций чужого спектакля по моей инсценировке. Кажется, тряхнешь головой, и все как сон слетит. Вспомнилось, как отмечали преддиплом в скверике у Никольского. По Питеру носились тревожные слухи об инфаркте Фоменко. Мы пили и на помин и за здравие. Под утро стало известно, что Петр Наумович жив. И пошел дождь, первоиюньский дождь после выпускного спектакля.

С утра дорога – осенняя, золотая. В давнем мае, впервые вернувшись из Киева, сидя за школьной партой, зарыдал. Каникулярная влюбленность: вольная жизнь в прогулках по чудесному, теплому, нежному городу, и вдруг – парта, школа, перекуры в кулак за углом – будто и не было ничего.

Вернулись. Выходной, но на вечер назначена репетиция «Неугомонного духа». Спектакль ставил другой режиссер, его изгнали. Теперь Худрук дергается, кричит, артисты ничего не успевают, он снова кричит – порочный круг, атмосфера ужасающая. Вместо работы над своим спектаклем то ли реанимирует, то ли гробит два чужих. Требует от артистов фантазии и самостоятельности. И не дает шагу ступить по своей воле. Оказывается, я совершенно неверно разобрал пьесу. Мы провели тридцать четыре репетиции. Но он даже не посмотрел прогон, а назначил читку и с первой фразы разнес все в пух и прах.

Он пригласил на дачу. Утро солнечное и теплое. После дождливого сентября – опоздавшее бабье лето. Рай, яблони, Волга в разливе. Полдня неожиданного наслаждения.

Дорогой жаловался: летом в Москву уехала молодая героиня Норкина – первый удар. В начале сентября ушел актер Уткин; мотив – пожилые и больные родители в Архангельске. Вчера выяснилось, что он тоже в Москве. Зыкову сманили в Питер. Чахоткина: два месяца симулировала астму, а вчера подала заявление – приглашена в другой театр, в Москву. Из репертуара вылетают четыре спектакля, вводы невозможны. В ноябре планировали ехать в Питер на фестиваль «Чаек». Театру выделили семьдесят миллионов на этот проект. Но: Заречная – Норкина, Уткин – Тригорин, Зыкова – Маша, а Чахоткина – Аркадина…

Мне снова снятся сны, снилось, что приехал домой, а на кухне живет стая маленьких лебедей, и все почему-то больные и больше похожи на гадких утят. Еще, что взял на руки Женьку, а у него такие грустные глаза, и он меня не узнает.

Жена Худрука собрала мне мешок яблок и петрушки…

Если бы только на денек оказаться дома. Пусть невозможно преодолеть одиночество, но близость-то возможна. Как самонадеянно и незаметно мы уходим от себя. И какую нужно взять дистанцию, чтобы этот уход обнаружить.

Покров.

Тепло и солнечно. Шел и думал: денег нет совсем, еда кончилась. У тротуара в листьях нашел десятитысячную бумажку. Купил полтинник коньяку, пива бутылку, польских сосисок. Прогулялся, дошел до церкви. Покров – особый день.

Под Покров два года назад умер Музиль. В Покровской больнице.

И Одоевцева – тоже в Покров. День был холодный, первый легкий снег шел. Воскресение. Я как раз купил цветы, чтобы к ней поехать.

Самое горькое – срыв гастролей в Питере.

Из Петербурга в…

Дорогой Алёша!

Я все думаю – почему и из-за чего мы так много с тобою ссорились? В чем предмет борьбы? Я начинаю бояться – как бы у вас с Худруком не получилось что-то вроде – в тебе закипает самовар самолюбия, ты начнешь думать, что он тебя унижает, презирает и все такое прочее. Двое не могут ставить один спектакль, как писать одну картину.

Я прекрасно знаю, что такое психология ВТОРОГО, и знаю, как это бывает унизительно, мучительно и далеко НЕ ВСЯКИЙ способен выдержать работу «на подхвате». Значит, необходимо приучить себя к мысли, что в данном варианте необходимо держаться в тени и понимать «главного», – все равно вся труппа будет слушаться тов. Худрука – у него авторитет, опыт и пр.

Учись у него – вот и все, старайся понять его логику, чего он хочет в каждой сцене и КАК ОН это делает.

Я «при Музиле» или «под Музилем» (хоть он меня любил и вел себя всегда почти безукоризненно) проработал почти 12 лет, потом слинял. Но когда я выпускал свои спектакли («Дело по обвинению», «Сокровище») – Музиль как-то отходил на второе место, был очень корректен на моих репетициях. Кстати, в «Сокровище» твой нынешний Худрук играл самую маленькую роль с двумя фразами…

Режиссер – это человек, который рисует свою картину не красками, а ЛЮДЬМИ, – в этом вся прелесть и вся опасность, поскольку материал беспрерывно подвижен, в процесс включаются тысячи психологических изменений и сложностей, где каждый воздействует на каждого, где в любую минуту все может лопнуть и распасться…

В общем, обо всем этом можно говорить бесконечно…

Попробуй отнестись к этой совместной с Худруком работе как к практике, которой у вас не было ни на одном курсе. Я просидел на нескольких спектаклях от читки до выпуска – у Сусловича, Тихона Кондрашова, Паламишева – до Ролана Быкова, когда он ставил свой несчастный спектакль в Ленкоме… перед репетициями истерически бегал по кабинету, а меня посылал репетировать: «Ты только там как-нибудь начни, а я попозже подойду…»

Лёша, вы с Худруком должны стать друзьями, быть в каком-то особом ЗАГОВОРЕ – и – отучись страдать, это пошло. Мне кажется, что он стал очень одинок…

Тебе должно быть РАДОСТНО!!! Оттого что ты с таким человеком, что ты попал в такой театр…

ТЫ САМ ЭТОГО ХОТЕЛ – работать в театре – и ты работаешь в театре – так радуйся же.

Лёша, милый мой, я знаю, как тебе трудно, – крепись, пусть он тебе расскажет – как ему было трудно, пока он шел по своей дороге.

Мне трудно писать, счастливо тебе, большой привет ему.

Ни пуха ни пера.

Создайте шедевр, нечто очаровательное, эротическое и странное.

Твой отец
7 октября 96 года

P. S.

Лёша, привет!

У нас все так же, борюсь с папой, дергаю его. Он отказался от гомеопатии, стал принимать отраву (ноотропил и т. д.) Стало намного хуже. Так и живем.

Крокодил довел меня до посинения. Орет, кусается – слова не скажи, дергает на улице – скоро скользко будет, не смогу его выгуливать.

Кошки в норме, Лизка ждет потомства.

Работаю много, надо зарабатывать. Устаю. Очень скучаю без тебя, как-то ненадежно чувствую себя, но что делать!

Как у тебя дела? Как ты ешь? Хватает ли денег? Не замерзаешь ли? Когда планируется ваша премьера?

Целую, жду —

Мама

Память скоротечная, как чахотка. Сплевывает кровавые сгустки и умирает, задыхаясь. Все – от холодного воздуха и сырости бытия. От скуки и незащищенности, попросту от отсутствия тепла.

Приснился сон обо мне счастливом, о том, что все стало хорошо и естественно, легко и спокойно. Но вот я проснулся.

Идет репетиция «Неугомонного духа». Полураздетая актриса и молодой «герой» играют сцену с эротическим намеком. Я не позавтракал и часто глотаю. Неловко перед соседями.

Пишу эту ахинею, чтобы Худрук, без конца мутузящий трехминутный эпизод, думал, будто я не теряю интереса и записываю каждое его слово, и он все больше говорит, а я пишу о муке бесплодных репетиций. Незанятые артисты поодиночке линяют в гримерку пить кофе, но непременно кто-нибудь остается «на вахте». Худрук должен видеть, что всем безумно интересно. Бедный, весь исполненный подозрений, мнительности и ревности.

Митя впал в немилость, тоже сидит с самого утра – с той же целью: продемонстрировать заинтересованность. И все фальшиво, и сам Худрук, вероятно, чувствует это, но даже формальное участие ему льстит.

Увечья во время репетиций. Он дает трюковые задачи, но артисты малотренированные. Сейчас Элла, стреляя из ружья, оступилась и – головой о железный бортик. Он выругал ее.

Они не играют, в них вколачивают роли. Играет только Худрук. Оттого и спектакли большей частью красивы, хорошо поставлены, но мертвы.

Вчера Эллу чествовали, говорили теплые слова. Сейчас сидит на краю ряда, плачет. Ударилась лбом, да еще и отругали. Как я ее понимаю. Сколько доброго наговорили мне на банкете открытия сезона. Все, один за другим, подходили и хвалили. На следующее утро репетицию Бергмана ведет Худрук, громит мой разбор. Труппа с восторгом глядит на мастера, в мою сторону – ни взгляда.

Так и сейчас: слушают его, смеются, ласкают вниманием, восторгаются. Но никто даже случайно не смотрит в сторону Эллы. За сочувствие не погладят по головке. И Худрук от вины все бодрее и добрее, и обаятельней, и остроумней, и действительно уже весело, и все хохочут. А Элла плачет. Так неуместно. Надо бы не выдавать обиды, но, видимо, трудно.

Как «отучиться страдать»?

Он не будет ставить Бергмана. Сказал, что разочаровался во мне, в Бергмане, в пьесе. Поручил искать современную русскую историю на четверых и при этом всучил «Изгнанников» Джойса. Там две героини и восьмилетний мальчик. А в театре на сегодня – ни одной героини, не говоря уже о мальчиках.

19 октября. В этот день каждый год ездили в Царское. Поклон вам всем, друзья мои – филологи и режиссеры. Пишу вам из ссылки…

Сейчас будет прогон первого акта.

Теряю ощущение реальности. Заболеваю психически, теряю свободу.

Больной сон в минувшую ночь. Стою во дворе своего дома. Рушится стена. Дом-скелет. Выходит отец, а я ведь помню, что он не ходит. Стоит и смотрит на меня: «Лёша, мама умерла». Как тревожно. Я ни на минуту не забываю, чем жертвую, находясь здесь. Неужели все это напрасно?!

Пошел на вокзал узнать, когда поезд домой. Боюсь лететь самолетом. Боюсь не вернуться.

Когда я хвостом стал ходить за Худруком, смеяться каждой его шутке, хвалить спектакли, вкрадчиво и молча смотреть в глаза, он сменил гнев на милость. Он пресекает любую попытку общения с кем бы то ни было. Даже Митю попытался очернить. Сказал, что ходят слухи, будто Даша, юная героиня в Бергмане, – моя любовница, и что слухи эти – от Мити. Если есть эти слухи – он же сам их и распустил. Все, кто ушел от него, прокляты и оболганы. С кем бы я ни общался, со всеми стал подозрителен и осторожен – не настучат ли. Вслух говорит, что он гений. Сказал, что вся труппа настроена ко мне враждебно. Он подавляет, я

чувствую себя бездарным. Когда сегодня одна актриса сказала, что труппа была мною очарована, что все поверили мне и захотели работать, что я столько раскрыл им и столько дал, показалось, что говорит она о каком-то другом человеке.

Вспоминаю свои репетиции и разбор пьесы, понимаю, что многое было определено и найдено удачно.

– Ищи пьесу на четверых! Бергмана не будет.

Я предложил одно, другое, третье – он все запретил. Его же предложения заведомо обречены. Он не ставит классику, потому что классику трудно извратить, но на второстепенных пьесах доказывает свою изобретательность и гениальность.

Я лишился чувства первоощущения и свободной оценки. Это – потеря самостоятельности.

Я теряю чувство юмора – это впадение в зависимость. Ведь чувство юмора – чувство дистанции.

Я не могу ни строчки сочинить, высказать мнение. Не могу писать писем.

Бей тиранов в самом себе. Во многом я заслужил это. Сколько лет уже черпаю отрицательный опыт:

вот так – нельзя и:

помни о людях.

После четвертой премьеры «Мертвой обезьяны» Худрук пригласил актеров на фуршет.

– Лёша, извини, но мы узким кругом, – и через паузу, во всеуслышание, – можешь позвонить домой из моего кабинета.

Звоню домой:

– Привет, мама…

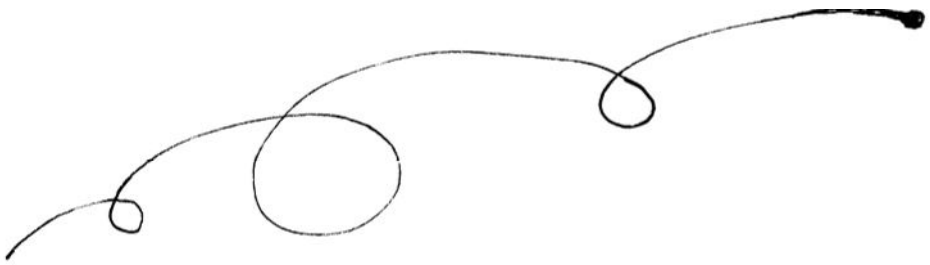
– Лёша, ты убьешь нас! Двенадцать дней не звонил!

– Не волнуйся, все хорошо.

– Тебя прищучили?

– Тут всех прищучили.

– Бери билет и возвращайся, немедленно!



На те же грабли. Письмо Ирине Евдокимовой



– Алло, Алексей Евгеньевич?

– Слушаю.

– Из Тильзита беспокоят, предлагаем приехать на постановку.

– А что ставить?

– Все, что угодно, только учтите: на все про все у нас семьсот долларов.

– Это гонорар? Маловато…

– Это не гонорар – это весь постановочный бюджет. Но репертуар горит, зрители не ходят, нужна премьера, спасайте!

Абсурдней предложения представить нельзя. Я согласился.

На солнечном февральском перроне Ирина сказала:

– Все будет хорошо.

– Надеюсь, не как в прошлый раз.

– А как в прошлый раз?

> Провинциалы любят уголовщину, уж это известно. Больше… делать-то нечего.
>
> *А. Н. Островский. Волки и овцы*

7 февраля 2003 г.

Ирина,

о чем мы говорили? О первой постановке. А дело было так.

Я сдал Уильямса и предстояло ехать на диплом. Прежде было распределение, но в наши счастливые годы – шиш с маслом, ищите и выкручивайтесь сами. А бывало, профессор Музиль позвонит в любой театр, с ним на том конце навытяжку беседуют:

– Да, Сан Саныч, весь внимание!

– К тебе приедет мой ученик ставить диплом, так уж будь добр, голубчик, чтобы он этот диплом поставил, хорошо?

– Разумеется, не сомневайтесь.

Нам повезло меньше.

Я после Уильямса летел курьерским на всех парах, и видел счастливое режиссерское будущее, и ни в чем не сомневался, и очень хотелось, чтобы скорее. А куда податься?

Отец тогда болел, да он и не стал бы никаких протекций устраивать – не те принципы. Но была у него масса учеников, один из них посоветовал: «Лёша, звони такому-то Худруку, он отцу твоему по гроб жизни обязан».

Папа не без юмора рассказывал о своем ученике, который теперь создал мощный театр в Энске и всякий раз звонит и шлет открытки с поздравлениями:

– Он дико Музилю не понравился, цыган какой-то, а мне понравился. Но профессором был Музиль, и срезал этого мальчонку на первом же туре. А вечером я взял Пьерку (эрдель наш) и пошел по набережной Мойки на прогулку. Вдруг слышу, у схода к воде кто-то плачет. Смотрю – юноша раздевается, собирается топиться. Вы что, говорю, молодой человек, надумали, здесь же мелко и не романтично, не пойти ли вам на Неву? Он ко мне поворачивается – а это утренний мальчик, которого Музиль зарезал: «Идите в табор коровам хвосты крутить, в искусстве вам делать нечего!» Он, как выяснилось, был седьмым сыном в крестьянской семье и действительно все детство за коровами ходил.

– Вылезайте немедленно, идемте чай пить!

На следующее утро отец поймал Музиля в коридоре ЛГИТМиКа и настоял вторично прослушать несчастного. Музиль дал этюд на освоение предметов: несколько вещей в определенной последовательности должны послужить переломными звеньями сюжета. Смотрели его последним, комиссия устала, Музиль был раздражен и делал это исключительно по настоянию и из уважения к Евгению Павловичу. Вышел мальчик и сразу же запутался.

Музиль полугневно взглянул на отца:

– Ну, Женя, видите!

Отец и бровью не повел, но громко и уверенно выкрикнул:

– Стоп, еще раз! Начните с подсвечника, без подготовки – вперед!

Несчастный очнулся, начал импровизировать и блестяще сыграл этюд.

Пять лет он учился, пять лет Музиль его гнобил (сердцу не прикажешь), а отец защищал. Выпустился он блестяще, поехал на Волгу и в двадцать девять стал худруком. Театру присвоили звание Академического, спектакли гремели на всю страну: он первый ставил Булгакова, Цветаеву, неизвестных и полузапрещенных зарубежных авторов. Он был бешеным, с необыкновенно богатой фантазией, с немыслимой сценографической храбростью и удивительным магнетизмом.

Когда я прилетел в Энск, в аэропорту меня встречали с табличкой: «Евгеньевич Злобин» – имя Худрук не запомнил, отчества не забывал никогда. Меня отвезли в гостиницу, в бессонной ночи я в сотый раз жег глаза об инсценировку по «Улыбкам летней ночи» Бергмана. Утром заехал Худрук, отправились в театр. Весь театр выкрашен черной краской, актеры еще не вернулись из отпуска, работали только буфет и Худрук. Роскошный обед, кофе в кабинете, сигареты, сигареты, сигареты – мы не выходили из театра три дня. Он много рассказывал об отце – с благодарностью, и с ненавистью – о Музиле. Я влюбился в этого человека, я был последним светлым пятнышком в его переломанной ужасающим характером жизни.

Через три дня он сделал очень неожиданное предложение, а я допустил ошибку, не позвонив отцу прежде, чем принял решение.

Я бесконечно доверял Худруку, я был неопытен. Еще вспомнил, как Фоменко на первой читке «Рогоносца» в «Сатириконе» сказал: «Эту пьесу Кромелинка ставили всего дважды: Мейерхольд в Москве и один Худрук на Волге – перед обоими снимаю шляпу».

Я был влюблен, да простится мне, и он был искренен, да простится ему. Я согласился отдать ему свою инсценировку. А уже потом позвонил отцу. Вывесили приказ, с югов съехалась труппа, Худрук представил меня и блестяще прочитал пьесу. Потом дал предварительный разбор – ничего общего с моими представлениями, но я уже был «второй», не мне решать.

Параллельно приглашенный из Москвы режиссер ставил пьесу Коуарда «Неугомонный дух». Кто знал тогда, что это будет последняя худруковская постановка в этом театре.

Я начал работать, а он уехал в Киев ставить «Зойкину квартиру». Мы созванивались ежедневно, я подробно рассказывал о репетициях, он что-то советовал, работа шла.

Меня поселили в угловой темной квартире во втором этаже дома неподалеку от вокзала. Пришел Митя, однокашник, которого я устроил в театр, – мой единственный дружок и собеседник. Но потом он предпочитал зазывать в гости меня. Еще была девушка Даша. Мы с Митей выбрали ее среди студентов театрального училища на роль молодой жены старого адвоката. Сложилась такая тройка птенцов – тихие чаепития, прогулки после репетиций.

В отсутствие Худрука шесть актеров, не дожидаясь его возвращения, ушли из театра. Среди них и ведущие, они не были у меня заняты, но общий фон труппы сильно изменился – театр решительно потерял в качестве. Все это мне стало понятно позже. А пока я не мог вообразить, как можно уйти из такого театра, как можно уйти от Худрука?

Еще я очень подружился с замечательно красивой и доброй народной артисткой Валентиной Александровной Федотовой. Она поджидала меня после утренних репетиций, расспрашивала о Питере, об отце, приносила яблоки и помидоры со своего огорода, допоздна засиживалась со мной после вечерних репетиций. Я не любил возвращаться в свою конуру и был очень благодарен ей за заботу. Однажды она сказала:

– Алёша! Уезжайте отсюда поскорее, он вас сожрет, он – убийца. Зачем вам этот некрополь, мы все здесь уже похоронены, а у вас все впереди…

– Но почему?

– Уезжайте, поверьте мне.

Я ей не поверил. И еще:

– Никогда не пейте с Премьером, и вообще, не подходите к нему, не общайтесь.

– Поздно, мы уже с ним выпивали.

Премьер репетировал роль адвоката Эгермана. Это был ведущий артист театра. Однажды на спектакле оборвалась лонжа, он сорвался с шестиметровой высоты – сломал ноги, год не мог вылечить, запил, раны не затягивались – инвалидность и профнепригодность. Он хромал, ходил с палочкой, но репетировал блестяще. Я не знал, что он был любовником Худрука, что был развращен им и сломлен, зависим, доведен до алкоголизма. Я не знал, что когда Григорий Тропинин, профессор училища, ведущий актер театра, свалился с инфарктом, то Худрук с Премьером ночью под окнами больницы, попивая водочку, громко желали Тропинину скорейшей смерти. Я не знал, что замечательная, тонкая, нервная актриса Синицына в истериках билась головой об лестницу, когда Худрук в антракте бенефиса уволил ее из театра. Она месяц приходила в себя в нервной клинике и потом уехала в Израиль. Я не знал многого и не понимал, что страшного в том, что однажды ночью ко мне в кабинет пришел Премьер с водкой и мы выпивали. А Худрук узнал об этом сразу по приезде. Ему донес… Премьер.

Шли репетиции, артисты баловали меня вниманием и искренней благодарностью. У Худрука в Киеве поспела «Зойкина квартира». За ним из театра послали машину – не хотел тратить деньги из гонорара на обратную дорогу. На банкете Худрук не пил, но просил меня

выпивать со всеми, кто желал его поздравить. Позже я узнал – он был зашитым алкоголиком. Последнее воспоминание о Киеве – быстро поплывшее звездное небо, и я падаю на крыльцо служебного входа. Меня положили на сцене, укрыли кулисой, а через два часа погрузили в машину – возвращаемся.

По приезде – снова банкет: открытие сезона. Актеры собрались в буфете, Худрук не пил. Артист Честнов поднял тост:

– Дорогой наш Художественный руководитель, я хочу сказать вам, и, думаю, многие меня поддержат, огромное спасибо за то солнышко, которое вы нам подарили. Спасибо вам за Лёшу!

И вот тут я все понял, вернее, почувствовал, взглянув на перекошенное лицо Худрука: все бури хмуро пронеслись предвестьем новых – настоящих. Зачем Честнов это сказал? Я не знал, но он-то знал! Наутро Худрук объявил читку Бергмана. И начал громить со второй строчки, напрочь, в пух и прах.

– Не отчаивайся, – сказал он, когда разошлись обалдевшие от погрома артисты, – со всяким бывает – ты ошибся.

Да, я ошибся. Через два дня, перед репетицией «Неугомонного духа» (режиссера из Москвы он выгнал, Бергмана остановил, меня назначил ассистентом на совершенно ненужную и чужую мне работу) я посмотрел в зеркало и увидел – лицо черное! Просто черное измученное лицо. Хватит, сегодня же уезжаю!

В тот день пришло письмо от отца. Он в инсульте одним пальцем настучал на машинке слова поддержки с довольно точным пониманием ситуации, – я же ничего родителям не говорил, терпел, мне было стыдно, думал: «Сам виноват». И решил остаться, дотянуть хотя бы до этой злосчастной премьеры «Неугомонного духа».

А Худрук мстил оставшимся артистам за ушедших. Он орал на женщин, материл:

– Ну что, дура, ноги раскорячила – по сцене ходить не умеешь! Сядь в кресло и отвернись – видеть тебя не хочу.

Я сидел рядом и молча умирал, изредка курил.

– В зале может курить только режиссер!

– Хорошо, я выйду в коридор.

Вышел. За кулисами плакала обруганная актриса.

– Люба, успокойтесь. Послушайте: в этой сцене вы хотите примирения. Как бы вы ни скандалили с партнером, ни корили его за измену и пьянство – вы хотите примирения, понимаете?

– Да, да, – рыдала она, – и, кажется, поняла.

– Интересно, что это у тебя вдруг стало получаться? Послушала молодого режиссера – и поперло?! Если вы, Алексей Евгеньевич, еще раз пойдете в коридор курить, то можете сразу ехать домой.

– Я понял, спасибо.

В перерыве в буфете я спросил Худрука:

– Бергман будет репетироваться?

– Нет, я не буду ставить Бергмана, хочешь – ставь сам.

– Как это, ставь сам? Я месяц разрабатывал ваше решение, что я теперь скажу артистам – забудьте месяц работы?

– Дело твое. А Бергман – говно. Я посмотрел вчера по видео «Шепоты и крики» – говно Бергман.

«Шепоты и крики» – гениальный фильм. Бергман так увидел женщину, с такой любовью… Впрочем, именно в любви все дело.

– Что ж, по-вашему, и Брук – говно?

– И Брук говно, и Стреллер говно, и Бергман твой говно, и ты – говно! – Худрук вышел из буфета, хлопнув дверью.

Что ж, лучшего комплимента в своей жизни я не получал.

А в театре разрасталась беда: юная Даша влюбилась в Премьера. Посмотрела его на сцене в монологе из «Бесов» и – тю-тю. Прежде мы всегда уходили втроем из театра – я, Митя и Даша. А тут она стоит на служебке, и глаза у нее белые, шальные. И я понял, почувствовал – что волочь ее за косу на холодный воздух бессмысленно.

До премьеры «Неугомонного духа» оставалось три дня. Я позвонил домой: «Бросай все и приезжай!» – сказала мама.

Я занял у Мити денег и взял билет на день премьеры. Но кое-что еще хотелось успеть.

Это был день рождения Венички Ерофеева, я пошел помянуть его в ближайший шалман. Там торчал Премьер и глушил водку. Я присоседился. Некоторое время выпивали молча, не глядя в глаза друг другу. Он не выдержал:

– Алексей Евгеньевич, зачем вы…

– Что?

– Зачем вы со мной выпиваете?

– А почему бы нам с тобой не выпить?

– Ведь настучат, – он оглянулся по сторонам.

Я тоже оглянулся – никого, кроме нас, в шалмане не было.

– Пусть стучат. Давай еще по одной!

– Меня в машине Худрук ждет.

– Пойди скажи, что ты останешься.

И он пошел и сказал, а я ждал в скверике у театра. Видел, как от служебного входа отъехала машина, как хромающий Премьер остановился под фонарем и махнул мне рукой.

– Загудим, а? Но прежде я отлить хочу, пойдем.

И он, схватив меня за руку, потащил через вахту в театр. Вахтер тут же поднял трубку и стал звонить – понятно кому. А радостный Премьер поднялся на третий этаж, подошел к оббитой кожей двери Худрука, расстегнул штаны и стал мочиться, ухмыляясь мигавшему красному индикатору камеры видеонаблюдения.

Потом мы поехали на рынок за цветами, он собирался навестить Дашу, думал, я не пойду с ним. А я пошел.

Она открыла, вся в голубеньком, причесанная, улыбка скисла в секунду.

– Привет, Даша.

– Привет, Ле… Алексей Евгеньевич…

– Ну что – будем на пороге стоять?

Пили водку, пели под гитару. Я ушел. А на следующий день он сдал Дашу Худруку. Видимо, боялся, что я настучу. Или просто, по подлости натуры, хотел поразвлечь приятеля. И Дашу, конечно, погнали из театра. Вечером премьера, банкет. Пили все, я тоже, и после пошел в чей-то дом и снова пил – завтра предстояло уезжать.

Кто-то из артистов провожал меня под утро. Шел легкий снег, начиналась зима, заканчивалась моя ссылка. Я лег спать в рассветных сумерках и замер.

Проснулся от стука в дверь. А ведь и не знал, что звонок не работает. Стучат.

Это была Даша.

– Ты видел – на окне цветок расцвел, роза белая…

– Я и не знал, что там цветок, и не поливал никогда. Значит, жизнь налаживается, дом вздохнул.

Вздохнула и Даша. Она искала какие-то слова, ей было тяжело, хотелось, чтобы кто-то был виноват в ее горе. Я знал, что я соучастник, но мне было покойно и тепло – горячий кофе, утро, рядом женщина, пусть и несчастная.

– Зачем ты с ним пришел?

Я молчу. Она же знает, что от ответа ничего не изменится. Смотрю на нее:

– Даш, а ты – крещеная?

– Нет.

– Выйди в кухню, я оденусь.

В храме косматый поп кропил прихожан. Заканчивалась служба. Я подошел к свечнице:

– Крестины сколько стоят?

– Десять рублей.

– Вот пять, остальное – на Страшном суде.

В купели плавали кусочки воска с чьими-то волосами от пострига, поп неразборчиво лепетал, Даша дрожала. Зная службу, я не понимал ни слова, так он бубнил.

– А что теперь? – спросила Даша.

– Он тебе все расскажет, – поп ткнул в меня пальцем и вышел.

Дорога к ее дому вела мимо театра. Шли молча.

– А что теперь? – снова спросила она.

– Теперь, Даша, за тебя легионы ангелов чертям морды бьют.

Она улыбнулась.

Вечером в театре Валентина Александровна Федотова обняла меня:

– Не вернешься ведь уже?

– Посмотрим.

Даша с Митей стояли на перроне.

– Береги ее, Митя, чтоб в окно не прыгнула!

– Не дрейфь, Злобин, – второй этаж, внизу кусты сирени!

И я уехал.

Через месяц Худрука сняли. Директор сплел интригу, призвал министерство, голосовало больше ста человек, из них двадцать восемь артистов – все, кто остался. Судьбу Худрука решали бухгалтеры, шоферы, кассиры, распространители билетов…

– А вы, Митя, почему не голосуете?

– А не вы меня в театр брали. Я ведь к Худруку пришел, а не к вам, господин Директор, – понятно?

Мите потом припомнили эти слова.

У Даши все обошлось. Удалось даже доучиться, где теперь служит – не знаю.

Отец сказал: «Видимо, мой ученик сошел с ума. Не расстраивайся, это – только начало».

Дальнейшая судьба Худрука ужасна. Он поехал в Москву. В Театре Станиславского у него на репетиции умерла актриса. Потом он ставил какую-то чернуху к юбилею МХАТа, завалил весь театр чучелами птиц, потратил громадный бюджет, плел интриги – записывал в блокнотик, кто с кем как и когда, но все путал и был не понят. Спектакль сняли после трех представлений, артисты послали ему телеграмму: «БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ ТЧК ВАШ МХАТ». Через год у него умерла дочь – от передозировки наркотиками. В Одессе при постановке «Цены» Артура Миллера он вывел на сцене призрак умершей дочери Соломона. Там тоже не обошлось без травм и переломов судеб. Где он теперь? Слухи доходят, и все мерзкие.

А на меня опыт постановки диплома повлиял так, что я решил завязать с профессией. Помню тот день, спустя три месяца по возвращении из Энска, конец января 97-го. Лежу на диване и думаю: «Зачем все это? Надо менять жизнь! Прощай, режиссура!» В ту же минуту, будучи уверен, что жизнь кардинально изменилась, поехал к друзьям-художникам отмечать перемену. Отметили, кое-как добрался домой, ключом в замок не попасть, звоню. Открывает мама и с порога сообщает:

– Лёша, звонил Голиков – тебе присвоили именную стипендию Мейерхольда, срочно звони ему!

– Кому, Мейерхольду?

Я сел на пороге и грубо выматерился, после чего позвонил мастеру:

– Да, Вадим Сергеевич, что за дурацкий розыгрыш?!

Мягкий баритон Вадима Сергеевича перебивался еле сдерживаемым хохотком:

– Я, как вы понимаете, ни при чем. Ректор сообщил, что на кафедре приняли решение присвоить вам стипендию Мейерхольда. Это очень почетно, раз в год премируют одного из режиссеров. Кафедру возглавлял Фильштинский, помните, он хотел вам на третьем курсе «пару» влепить, ха-ха, а потом отстаивал вашего Уильямса. Вот за Уильямса вам и «привет» от Мейерхольда. Поклон отцу, порадуйте Женю!

В дальней комнате на кровати сидел отец:

– Папа, ты представляешь?..

Папа сиял! Он уже полгода не улыбался, был крайне замкнут, а тут вдруг:

– Сынок, дорогой, я тебя поздравляю, я счастлив, я горд за тебя!

Потом была Москва, Брюсов переулок, в квартире Всеволода Мейерхольда торжественно вручили сертификат и чек на годовую выплату стипендии, потом банкет в ресторане: госпожа Режиссура подмигнула, не приняв моего отказа.

Я все думал, зачем такой зигзаг, такой контраст и перемена участи в один день? И я прекрасно знал ответ: порадовать отца напоследок – больше незачем.

В феврале его не стало.

Я побежал за священником, а храм закрыт. Вернулся, отца уже не было. Он ушел один, без моей руки, без моего присутствия, один.

А осенью позвонил мой сосед, актер Петр Семак:

– Лёшка! Тебя разыскивает Главреж.

– Главреж?

– Новый худрук Энского Академического. Жди звонка.

Через час я услышал:

– Алексей, мне бы хотелось загладить несправедливость нашего театра перед Петербургом, есть предложение…

Позади уже были съемки у Сорокина и Сокурова, первый опыт ассистентства – я причастился кино.

Умер отец, похоронили Ваню Воропаева (мужа актрисы, с которой я хотел восстановить Уильямса, – все рухнуло), умер двадцатичетырехлетний Володя Митрофанов – однокурсник Мити, Вадим Данилевский – однокашник, с кем вместе преподавали на актерском курсе.

Шла бесконечная холодная бездельная осень. И звонок Главрежа был нечаянной радостью: наконец-то я мог защитить диплом. Предложили ставить что угодно, предпочтительно с женским распределением. Но у театра изменились задачи, мэрия выделила бюджет на новогоднюю сказку, которую никто в этом морге ставить не хотел. А бюджет требовалось «освоить». Так выдалась перспектива сочинить волшебное и праздничное зрелище.

Въезжал на коне, уезжать пришлось, выволакивая коня на своем горбу. Не забуду, как при встрече улыбались съевший Худрука Директор и Главреж – выпускник нашей alma mater, казалось бы, «свой». Прослушав музыку к спектаклю, я сказал, что музыка будет другая. Мне ответили, что я ошибаюсь. Следовало тут же развернуться и уехать.

А меня еще и обсыпало всего. Местные врачи решили: «аллергия». Я таскался между репетициями к эндокринологам, аллергологам и прочим спецам – не помогло. Ночью перед

сном таблетку тавегила запивал стаканом водки – это позволяло спать несколько часов. Потом все начинало зудеть, я просыпался в кошмаре, голова гудела. Приходил в театр, наглухо закрытый от горла до пят – никаких рукопожатий, объятий – чудовищный тактильный голод.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.